Алексей Юрьевич Герман, Светлана Игоревна Кармалита

## Гибель Отрара

### От авторов

В трудный период жизни – после запрещения «Лапшина», когда нас отовсюду гнали, казахские кинематографисты неожиданно предложили нам работу. Отказаться было бы для нас в тот период непозволительной роскошью, да и в Алма‑Ате были, надо сказать, удивительно для того времени в нас заинтересованы. Нам предложили тему, которая привела нас в полное замешательство, принесли литературу, и несколько прелестных казахских интеллигентов, сидя в странном полукруглом номере очень красивой и абсолютно голодной алма‑атинской гостиницы, рассказывали нам все, что думали о времени, о котором нам предстояло писать все, что знали и что от нас ждали.

Но, только начав работу и планомерный сбор материала, мы поняли, на что согласились. Ибо материала практически не было, эпоха молчала, почти ничего достоверного не добралось оттуда до нас. Все гневно противоречило друг другу. Из множества версий мы выбрали одну, как и другие, содержащую противоречия. Но ей мы и следовали. Кроме того, мы исходили из убеждения (это тоже опровергается некоторыми учеными), что во все эпохи люди одинаковы, а эпохи отличаются лишь суммой знаний, ибо повторяются даже обстоятельства.

Был когда‑то город Отрар, стоящий на пути орд Чингисхана к государству, вернее огромному конгломерату земель и народов, объединенных под рукой Великого Хорезмшаха. По одним данным, Отрар, тоже находившийся под властью Хорезмшаха, был большим городом, культурным центром, по другим – небольшая крепость в ряду подобных.

Но точно установлено, что Отрар и его цитадель поставили один из «рекордов» мученичества и подвига, дольше всех других городов удержав под своими стенами монголов. И еще известно, что здесь был уничтожен крупный монгольский караван, что, по некоторым теориям, и спровоцировало поход Чингисхана на Среднюю Азию и дальше на запад.

Появление Чингисхана и его войск не могло, как мы считаем, быть неожиданностью для Хорезмшаха и его государства, эти утверждения пустяшны. Он уже давно со звериной жестокостью терзал Китай, сущность его захватнической доктрины была известна, в любую минуту он мог повернуть на запад, и повернул. Как же случился этот не поддающийся описанию разгром? Ведь войск у Хорезмшаха было намного больше, армия была высоко организована. Каковы были люди, которые предвидели нападение, которые пытались предотвратить его? Когда мы задали себе эти вопросы и попытались на них ответить в рамках исторического времени – начала XIII века, – то история с удивительной последовательностью еще раз доказала нам, что все связанное с тиранией повторяется в таких подробностях, что можно заплакать.

Итак. Время действия нашего сценария – канун нашествия Чингисхана. Это первая часть, то есть время, когда кажется, что можно что‑то предусмотреть, предотвратить, во всяком случае, приготовиться к беде. И вторая часть – сама война, падение и гибель одной из цивилизаций, уничтожение одного из культурных центров – города Отрар – в 1219 году, подтвержденная некоторыми документами версия, как это могло случиться или случилось. Часть героев вымышлена, часть подлинна, судьбы их – героические, менее героические, просто жалкий конец их земного существования – либо описаны в исторической литературе, либо придуманы нами.

История молчит, но, если бы мы услышали в подробностях ее голоса, стало бы ясно, что все возвращается «на круги своя». Впрочем, мы убеждаемся, что это никого ничему не учит.

А. Герман

С. Кармалита

…над вымыслом слезами обольюсь…

А. Пушкин

Шли быстро вчетвером, впереди нукер, сзади нукер. Унжу и старый векиль между ними. Векиль прихрамывал, и стук его посоха был гораздо громче, чем негромкое бряканье оружия нукеров. Земли под ногами было не видно, но оттого что нукер впереди ни разу не сбился с шага, шли уверенно. Каждые десять шагов нукер впереди вскидывал руку и негромко вызванивал колокольчиком. Когда проходили мимо железных плошек с горящими в жиру фитилями, Унжу видел перед собой его напряженную и стертую краем кольчуги шею.

Коридор заворачивал, оттуда, из‑за поворота, навстречу им тоже негромко брякнул колокольчик, нукер сразу же повернул Унжу лицом к стене, и они постояли, покуда позади них не протопали шаги и точно так же негромко не прозвякало оружие.

Кого провели, с кем встретился, что предстоит самому?

Позади опять прозвонил колокольчик.

И еще поворот. Старый векиль задышал вдруг резко и громко, как старый пес, который сбился со следа, и тут же запахло благовониями.

Нестерпимый свет ударил по глазам, Унжу отвернулся, векиль там за ним еще раз плеснул благовониями на нечистую голубую тряпку, которой было замотано лицо.

В этом нестерпимо жарком солнечном дворе в пыли спали собаки, тощие, пятнистые, одного помета наверное, и пахло падалью.

Дворик маленький, в четырех высоких каменных стенах четыре столба в ряд. Посередине на каждом привязан человек с толстым мешком на голове, руки и ноги тоже обмотаны чем‑то. У каждого столба бочка, высокая, полная до краев воды, чистой, незамутненной, и в ней эти головы в странных мешках, да нет, не в мешках, просто мухи, плотный слой из мух.

И смрад оттуда, от столбов.

Ну и что?! Такое ли приходилось видеть…

– Смотри, не отворачивайся, подойди ближе и нюхай, – сказал векиль, – сегодня ты здесь гость. Знаешь, когда спадет жара, прилетают птицы, мухи стали жирные и капризные, они не улетают, птицы сначала съедают мух. Надо было привести тебя вчера, но уж так вышло. Первые дни здесь все кричат и плачут и просят воды, вот этой, – векиль ткнул посохом в бочку. – Спроси у меня, Унжу‑хан, что они сделали…

– Ну так что они сделали?

– Этот старик, – векиль пошел вдоль столбов, – занимался Кораном, у него были мысли, не помню какие, какие‑то очень смешные мысли… А вот эти трое, – векиль оттянул книзу платок, обнажив лицо, крылья носа у него задрожали, – эти трое сказали неправду Великому… Наверное, у них были какие‑то соображения, почему они это сделали, они все кричали здесь и все разное… Вот этот кипчак, как и ты, и его неправда похожа на твою…

Унжу подумал, не торопясь снял шлем, зачерпнул воды и резко плеснул полным шлемом вверх, туда, в голову, мухи даже не поднялись, просто стекли, как грязь, обнаружив опухшее, похожее на бурдюк безглазое лицо.

Нукер ударил плетью Унжу по руке, шлем булькнул на дно бочки, Унжу засмеялся, потряс рукой, на которой взбух рубец, сунул ее в воду.

– Мне не запрещали посмотреть на его лицо. – Унжу медленно сжал и разжал пальцы в воде, пальцы были белые и огромные. – Великий еще не усомнился в моих словах, – голос у Унжу окреп. – Ты обидел меня, ударив плеткой, – теперь он улыбался. – Выпей бочку… и достань шлем…

Борода у нукера была рыжая, недавно крашенная и длинная‑длинная, удобная. В следующую секунду она была в кулаке Унжу, и теперь по шее, под живот, под брюхо и головой в бочку, не успел, ударили сзади, поволокли, что‑то хрустнуло, темнота – и все.

Когда Унжу открыл глаза, вода из перевернутой бочки еще вытекала, остатки лились тонкой струйкой, впадали в лужу, лужа же на глазах уходила в сухую землю, исчезала, как исчезало все, что было с ним, Унжу, за эти последние годы.

Кипчак на столбе висел так же неподвижно. Что снилось ему, что мерещилось…

В противоположном углу дворика солдаты били рыжебородого голыми пятками об стену. Интересно, за что били, наверное, что дал себя схватить. Солдаты не любят нукеров и, когда им велят и можно, бьют больно.

– Великий сам приходил сюда для беседы, – негромко говорит векиль и вдруг садится рядом с Унжу на корточки, – но никто из них не подтвердил ему здесь то, что говорил раньше. Никто, кроме того дурачка, у которого такие смешные мысли про Коран, никто, видишь ли. Попробуй. А после ухода Великого я обещаю тебе помочь умереть легко. На, – векиль вылил на ладонь остатки индийских благовоний и потер Унжу подбородок, – попробуй, кипчак. Может быть, Аллах и прислал тебя помочь всем нам. – Старческие глаза векиля смотрели тоскливо. – Все мы пыль на пальцах Аллаха, помни об этом…

– Верно. Но пыль бывает из камня, который растрескался, и из дерьма тарабагана… И то пыль, и это… – Унжу взвесил посох векиля, острый железный конец не затупился здесь в каменных переходах, хорошее железо. – Я немного могу сделать для него, – Унжу кивнул на кипчака на столбе, – а он для меня еще меньше. – И вдруг засмеялся: – Ведь я пришел сам!

Стоило проделать все, что он проделал, чтобы оказаться в этом дворике.

– Они тоже пришли сами, кроме того старого дурака.

Унжу покивал, потрогал губу и метнул посох векиля прямо в грудь кипчаку на столбе, прямо под сосок. Звук был сухой, будто посох не в человека вошел, будто пересохший барабан лопнул. Стая серых жирных мух взвилась венчиком и повисла на солнце над головой.

– Ах, – сказал векиль, – ах! – прыгнул, пытаясь выдернуть посох.

– Мышь, – заорал ему Унжу, – ты старая плешивая мышь под ногой верблюда. Прощай и ты, брат, не знаю, какого ты рода, – это уже кипчаку на столбе, и, не оборачиваясь, Унжу пошел обратно к черной дыре прохода.

Унжу был кипчак двадцати пяти лет, он был невысок, очень широк в плечах и, по‑видимому, очень силен. На темном, будто дубленном на солнце лице под высоким лбом странными казались узкие ярко‑голубые глаза.

Вечерело, и, хотя солнце светило еще ярко, наступала странная прохлада, не свойственная Ургенчу в самый жаркий период лета. Унжу было странно видеть себя голым, может быть, потому, что давно не раздевался, может, оттого, что все остальные в маленьком круглом зале были одеты. Один он гол, совсем гол. Его осмотрели со всех сторон трое, даже зубы, даже подошвы ног, и аккуратно заклеили пергаментом два больших родимых пятна на левом плече и под лопаткой, от порчи… Потом дали одежду, все как положено, вплоть до сапог зеленого сафьяна. Только сабля без клинка. Ножны и рукоять едины, легкая сабля, полая, ветку не собьешь.

Халат внесли четверо, сперва не понял, почему четверо, понял, когда надели. Под широкими полосками меха на руках, спине – пудовые свинцовые прокладки. Плечи согнулись, рукой не повести, будто пятьдесят лет к жизни добавили, будто ты старик. Нечем дышать, устоять бы, ах устоять.

– Хороший халат, – говорит Унжу, – теплый. – И, собрав все силы, так, что жилы вот‑вот лопнут, прыгает на месте три раза.

Брови у векиля поползли вверх домиком.

Не надо было шутить, глядь – и несут другой халат. В этом ты уже не прыгнешь.

– У Великого много красивых халатов, – говорит векиль, больше не меняя выражения лица, хочешь еще прыгнуть, Унжу‑хан?!

Во дворе кони не для Унжу, да в халате и не залезть. Для него, Унжу, носилки, голубые с перламутром, это снаружи, а внутри нечистая кедровая доска и запах нечистый, рвало здесь кого‑то.

Рабы‑нубийцы подняли носилки и понесли, слышно, как ругается десятник, кольнул, видно, кого‑то пикой, тот взвизгнул, носилки перестали качаться, пошли ровно. Через выпавший сучок видит Унжу кусочек улицы у дворца, лицо старого менялы. Меняла смеется, что‑то говорит, насколько старый меняла счастливее сейчас кипчакского безземельного хана, сотника без сотни, его, Унжу.

Желтая полоска света у ног, как полумесяц.

– Аллах, помоги вытерпеть, – громко говорит сам себе Унжу.

– Но у монголов нет леса… – Шах Мухаммед, царь царей, Потрясатель Вселенной, новый Александр и прочее, ел арбуз, с всхлипом втягивая сладкую влагу. У ног шаха лежали два гепарда, один вытягивал длиннющую, как у кошки, ногу и чесал ею под подбородком, потом отошел, насколько позволила цепь и, присев, вытянув хвост, как копье, помочился, так что два крайних листа намокли. Сколько раз Унжу рисковал башкой, вернее, позвонками спины там, у монголов, из‑за этих листов, выполненных китайской тушью им самим.

– Как же эти машины могут быть сделаны из бревен, когда у монголов нет леса?!

Плечи тянет к земле, и спина, и шея не могут больше вынести тяжести халата, и мелко трясется от напряжения живот, рук не оторвать от земли.

Все вокруг улыбаются, и Унжу слышит свой собственный голос, и в этом его собственном голосе восторг, потрясенность справедливостью замечания.

– Да, Великий, у монголов действительно нет леса…

Хотя есть, есть лес, давно уже есть, уйгурский, каракитайский да еще бог весть какие леса. Ничего они не знают здесь и не хотят знать. Или Аллах воистину ослепил их.

– Эти стенобитные машины, которые я изобразил на этих листах… Если бы монголы увидели, что я их изобразил, мне бы сломали спину. Эти машины делают сами китайцы и сами бьют стены своих собственных городов… Так уж у них все устроено, о Великий. Если китайский мастер будет плохо стрелять камнями, то его самого зарядят в машину. Их армия сильна, и они не знают пощады. Если кто‑нибудь побежал, наказывают десятку, если побежала десятка – сотню…

– А если побежали все? – Лицо у шаха тяжелое, и в глазах одно желание – уйти, и страх, нежелание слушать Унжу.

Это понимают все здесь, и, чтобы преодолеть это желание Великого уйти, Унжу говорит все громче, почти кричит:

– Все они не бегут, Великий, никогда не бегут. Именно потому, что я сказал, ведь многое, как все в мире, состоит из малого, и тумен в конечном счете состоит из десятков и сотен.

– Я помню их, маленькие кривоногие люди на маленьких лошадях… Даже если этот желтоухий Чингиз немного побольше, – шах засмеялся.

– Там не было тогда Чингиза, о Великий. Там был его нойон Субадай с двумя туменами. Ведь один кипчакский хан или даже туркменский еще не армия, Великий…

– Там был твой каган Чингиз, это знают все.

Холодно, все холоднее. Ветер с гор совсем не летний, нукеры приносят жаровню и ставят ее Мухаммеду у ног. Дым пугает гепардов. Трусливые длинноногие кошки, расчесавшие себе шеи в неволе, эта мысль проносится так, мимо.

– Они не знают пощады, совсем не знают. – Голос сел, и Унжу бормочет: – Тебе надо готовить народы, о Великий. Здесь я нарисовал все, и многое могу изготовить…

– Ты кипчак и был сотником у монголов? – это уже визирь, с багровым от недавней оспы лицом, в его глазах сочувствие, и голос Унжу опять обретает твердость.

– Тысячником, я был тысячником, правда, у меня было много меркитских солдат и солдат других народов, и китайцев, и даже мусульман…

– Хан Унжу говорит с монголами как монгол, с китайцами как китаец, – визирь улыбается, – а с нами как добрый мусульманин.

Дым из жаровни внезапно густеет, ветер задул в поддон и крутит белый душистый дым, отделяя Великого, и визиря, и свиту. Только легкий кашель там, за дымом, да гепарды сильнее тянут цепи.

– Перед тем как идти в чужую страну, хан Чингиз высылает купеческие караваны, и после купцы лепят ему из песка весь маршрут войска… Ни одно войско не движется так быстро… У них сменные кони, – Унжу опять кричит туда, в белый дым, – у этих купцов, их полно в твоем городе, есть пластинки из золота, такие тонкие пластинки, на них изображены бегущие звери, похожие вот на этих, – Унжу пробует показать рукой на гепардов, не поднять, не поднять руку со свинцом в рукаве. – Любой монгол ведет такого купца сразу к Великому кагану… Я видел, видел, я знаю… – внезапно Унжу замолкает. Оттого что рядом, низко склонившись, стоит старый китаец в розовом, расшитом такими знакомыми цветами халате.

– Это китаец, – голос визиря из‑за дыма. – Расскажи ему смысл того сухого рисунка на его родном языке. Поторопись…

Ветер опять стих, дым из жаровни больше не крутит, и трон с львиными головами, и Великий, и визирь, и свита опять возникли.

Унжу начинает говорить быстро. Рисунок прост, и надписи к нему просты, разные варианты построения из трех туменов. Вот два сбоку, один выпускает стрелы, разворачивается и бежит, втягивая преследователей в ущелье или долину, растягивая, пока два тумена сбоку не заканчивают дело. Просто, как детская игра, и всегда на памяти Унжу беспроигрышная.

Китаец внимательно слушает, кивает, быстро запоминая, как это у них принято. И пузырек с тушью, и кисточка трясутся у него на поясе. Потом говорит громко и ясно, обращаясь к шаху и к его свите:

– Этот человек говорит на непонятном мне языке, о Великий, я знаю более сорока языков и наречий, но, может быть, в горах… – китаец пожимает плечами и ласково глядит на Унжу.

И визирь кивает.

– Как же ты командовал китайскими солдатами, не понимая ни слова, – визирь смеется, будто все это была шутка.

И все смеются, будто у них животы болели и прошли. Дышать трудно, пот заливает Унжу лицо, ползет под воротник, под халат.

– Ты китаец, – медленно говорит китайцу Унжу и видит, видит, что тот его понимает, – сейчас, когда я это говорю, твоему народу выжирают печень… У тебя ведь тоже есть свой бог, ты, старик, что ты оставишь в этом мире?..

Китаец кивает, кивает и улыбается.

Великий вдруг вскакивает и бежит к Унжу, пола его халата попала в угли и дымит, визирь бежит рядом и пытается прихлопнуть эту полу руками. Великий садится на корточки и протягивает под нос Унжу розовую ладонь.

– Кто научил тебя и зачем? Кипчаки не хотят идти на Багдад, но этого вам мало… Послушай, кипчак, как тебя… В этой руке я держу Вселенную, и народы трепещут, когда я шевелю пальцем вот так. Что мне эти желтолицые гурханы, каганы?! Семечки из арбуза, пыльца!.. Кто научил тебя? Почему ты, кипчак, пришел сюда?

– Потому что каган – не семечки, Великий, и его копыта ближе всего к моей земле…

– Вздор, вздор. Кто научил тебя? Моя мать? Сын? Говори! – Великий вскакивает и вдруг начинает бить Унжу ногой по лицу Туфля мягкая, боли нет. – Ты скажешь мне все в Башне скорби, когда мухи начнут есть глаза, вы все говорите там то, что я угадываю здесь. Не будь дураком, начни с начала, а не с конца. Ну, кто? Кто?

– Великий, Великий, – Унжу пытается поймать полу халата, – я рассказал тебе, как они ломают хребты воинам, но и владыкам они заливают лица серебром, а их матери сидят на цепи у юрты кагана, – Унжу кричит и вдруг чувствует, что плачет, что задыхается от слез, которых не знал с детства, – и им бросают кости для еды, бараньи лопатки, и они благодарят…

– Врешь! Врешь! – Великий не слушает. – Кто научил тебя?! Эй вы, спустите на него гепардов! Жаровню сюда!

Он бьет Унжу кулаком по щекам, по глазам и вдруг сам начинает помогать нукерам тащить жаровню. Жаровню поднимают над Унжу, из нее сыплются раскаленные угли на голову, на халат, на руки. Боль приходит не сразу, сначала запах собственной паленой кожи и волос, гепарды смотрят с любопытством, опять подняв хвосты, как знамена. Ничего они не сделают, эти кошки. Бессмысленные кошки, как все здесь.

– Я приду к тебе на третий день, – говорит Великий, – и ты будешь долго говорить, а я молчать, – шах говорит вдруг устало, и полные безвольные его губы кривятся. – А если все это так, как ты сказал, Аллах простит меня, потому что ты первая песчинка в пыльной буре, которая засыплет наконец мир.

И через слезы, которые заливают лицо, Унжу вдруг видит или ему кажется, что идет снег. Да нет же, идет густой снег, какого не бывает летом. И через этот снег тяжело и грузно уходит, прихрамывая, обрюзгший человек, имя которому Потрясатель Вселенной, и кашляющие старцы – свита. Потом на Унжу накидывают мешок, старый мешок с привычным уже запахом чьей‑то блевотины, эти мешки называют «мешки скорби».

На обожженную руку ложится снег, и это приятно.

Весь вечер густой снег валил над Ургенчем. К рассветному утру улицы были словно накрыты белоснежной раскатанной китайской ватой, что было удивительно для этого времени года.

В этот же предутренний час богатый хорезмийский купец Ялвач, утомленный долгой дорогой, был разбужен громким стуком, он успел увидеть, как факелы заполняют двор, как огонь пляшет на черных кольчугах, и повалился как был в рубахе лицом вниз. И так долго лежал и видел тяжелый медный сапог перед глазами, с которого на ковер стекала грязная вода, слышал, как выбрасывают из дома слуг и женщин, всех подряд, как чей‑то простуженный голос приказал зажечь китайские фонарики, гирлянды которых украшали двор. Потом медный сапог приблизился и ткнул его в лоб, разрешая поднять голову. Когда Ялвач ее поднял, он увидел напротив на маленьком стулике колено, пухлую руку, которая почесала это колено. Ялвач дальше не смотрел и, просипев слова благодарности: «Аллах велик. Он подарил мне счастливый сон», – повалился опять лицом вниз. Но тот же медный сапог подсунулся к нему под подбородок, и тот же простуженный голос, который приказывал зажечь фонарики, разрешил поднять голову и стать на колени, чтобы увидеть Великого.

И Ялвач увидел Великого.

Глаза Мухаммед‑шаха за день и часть ночи опухли, покраснели: его мучил насморк, болела голова, и визирь подавал ему в золотой тарелочке куски льда, напиленные в форме причудливых цветов, Мухаммед‑шах прикладывал их то к вискам, то к переносице, и от этого Ялвачу показалось вдруг, что Великий плачет.

– У меня была встреча, – заговорил шах, – она встревожила меня… И сны, купец, сны… Ты мусульманин, я глава мусульманского мира, вернее, буду им, когда этот ублюдок из Багдада поймет свое место. Что это, купец?

Визирь с тоже опухшим от бессонницы в алых оспинах лицом торопливо наклонился и сунул под нос Ялвачу лист китайской бумаги с желтым обмоченным краем, от бумаги резко пахло кошкой.

На бумаге было изображено что‑то, но бумага была близко, и, чтобы увидеть это «что‑то» – китайский камнемет, – Ялвачу пришлось отползти.

Смотреть в глаза Великому нельзя. Купцы редко смотрят в глаза владыкам, разве что Великому Чингизу, там, не здесь.

Рука на колене лежала спокойно.

– Это китайская машина, – Ялвач говорит быстро, не запинаясь, – она бросает камни или куски бревен, даже дохлых ослов, которые несут болезни… Она служит для пробивания стен…

Ах, жизнь, жизнь, страшная жизнь купца. Там гнев, здесь гнев, там раз – и ломают спину два удальца, и лежи в степи под высоким небом, и такая боль, что не слышно, как стынет кровь в жилах и о чем говорит трава. А здесь и того страшней – Башня скорби.

Пальцы Великого дернулись, и жилы на руке появились.

– Китайцы – нежный народ, – торопится Ялвач, – их речь бессильна, как пение птиц. Их дома легко рушит ветер, а стены – подобные машины. Прикажи построить одну такую и ударить в стену хотя бы Самарканда – и ты сам убедишься, – Ялвач смеется, ах, как удачно получился этот смех, но лучше не повторять, горло может перехватить, и тогда…

– Говорят, вы, купцы, боитесь этой желтоухой собаки и служите ему за дешевый товар… – опять дернулись пальцы на колене. – Говорят, вы лепите ему из песка наши мусульманские земли и города… Говорят, у вас есть пластинки из золота и серебра, и с этой пластинкой любой монгол должен служить вам и вести к желтоухому Чингизу… Сейчас нукеры перероют все в твоем доме и в караван‑сарае, и твои рабы будут громко кричать и плакать, но и это ничто по сравнению с тем, что будет с тобой, если пластинку найдут… На ней должен быть единорог или леопард, не помню. Ты можешь смотреть мне в глаза, купец. Конечно, это не глаза Аллаха, но и не глаза желтоухого Чингиза, которому ты продал душу. Или еще не продал, но подумывал об этом, а если и не подумывал, то это может прийти тебе в голову, а?! А поэтому пусть твои сыновья пока побудут гостями в доме моего пехлевана в Башне скорби, – шах кивнул на двух мальчиков, распростертых на ковре. Глаза шаха смотрели уже без интереса, он хотел спать.

Мальчики, его мальчики. Надо было что‑то делать, делать, что‑то сказать. Не просить, не умолять, для этого поздно и никогда не помогало, и Великий хочет спать. Если змея ждет тебя на одной дороге, надо свернуть на другую, ну и что, ну и что. Спасение было, было, вот оно. Такие секунды всегда выручали Ялвача.

– Великий, ты сейчас отсечешь мне голову и будешь прав, как всегда бываешь прав в этой жизни. Желтоухий каган просто бывший раб, ведь он носил колодку на шее… Неужели ты думаешь, что правоверный может служить бывшему рабу. Каган, или Чингиз, как они его там зовут, возвысился просто хитростью на большой охоте. Он созвал всех своих ханов, больших и малых, и поставил свой шатер посредине, но ночью уполз из него. Утром же шатер был весь пробит стрелами… По стрелам он определил изменников, казнил их и, соединив кочевья, возвысился. Торгующий должен не только видеть, но и слышать, иначе он не продаст товар. Я никогда не был в Багдаде. Но караваны так часто вместе жгут костры под звездным небом… Говорят, багдадский халиф и туркменские ханы… Большая охота на белом снегу очень эффектна, о Великий… – последние слова Ялвач почти бормотал, вроде голову потерял от страха, и, уже замолчав и не боясь больше, Ялвач спокойно взглянул на постепенно багровеющее лицо Владетеля полумира и Потрясателя Вселенной.

Тот два раза открыл рот, сгреб лед с золотой тарелочки, хотел приложить к затылку, но вдруг швырнул его в лицо Ялвачу и вышел.

Во дворе раздались крики женщин, голоса рабов, будто им тряпки вынули изо рта. Потом заплакали дети.

Ялвач встал и, согнувшись, поплелся во двор.

Кусок грязно‑серого снега отвалился от края бочки, и сразу же голос сказал:

– Хан, а хан, Аллах подарил мне и этот день. Сначала взял, теперь подарил. Но глаза мои опухли или их съели мухи, – голос был слабый. – Расскажи мне, что ты видишь, хан?

– Откуда ты знаешь, что я хан, грешник?

– Откуда ты знаешь, что я грешник?

Они висели в том же дворике, где Унжу был накануне. Живых двое – вероотступник, толкователь Корана, и он, Унжу. Снег не сошел, и хотя повсюду капало, он лежал грязными пятнами на стенах и на крышах огромного города внизу. Город был виден только Унжу, ибо тот, другой, был слеп. Город был виден, потому что столбы возвышались над стенами. Боль в завернутых назад руках ушла, переместилась в затылок и спину, стала привычной, и Унжу казалось, что наступает покой и смерть. Когда налетал новый снежный заряд, можно было высунуть язык и ловить на него снежинки. Вода в бочке внизу под ним заплыла серым талым снегом, в ней ничего не отражалось.

– Во всем правоверном мире этот снег в летний зной нужен одному существу – мне, – опять заговорил вероотступник, – потому что мухи не едят мое тело и дают мне размышлять… Подумай, что это значит?!

– Ну и что это значит?

– Это значит, что Аллах подумал именно обо мне, хан, – голос вдруг стал насмешлив.

– Твои глаза не опухли, они вытекли, ты слеп.

– Видеть можно душой, к чему глаза? Да и стоит ли видеть этот мир, в нем одно хорошо – снег, который прогоняет мух. Аллах создал снег, зверей и птиц, крестьян и камни, лис и муравьев, но все пожирают друг друга, и сердце Аллаха полно жалости и страдания. Но ему жаль уничтожить этот мир, и он придумал смерть, но смерть страшна живым, и тогда он придумал муку, и избранные, вроде меня, могут звать смерть. Ты тоже поймешь это. Правда, позже, когда прилетят мухи.

– Моя смерть будет другой. И для другого.

Голос вероотступника слабо засмеялся и покашлял.

– Бедный кипчак, глупый кипчак. Ты способен натянуть только тетиву, а уже стрелу направляет Аллах. Я вишу одиннадцать дней, Аллах дал мне размышлять. Никто столько не висел, за это время здесь умерло пятеро хорезмийцев, перс и два кипчака. К троим из них приходил Потрясатель Вселенной, который не способен потрясти даже младшую жену своего гарема. Я много здесь сначала видел, потом только слышал. Люди плакали и молили, и был герой, который бросал слова гнева, как его просил векиль, – голос стал совсем слабым и опять засмеялся. – Ты думаешь, векиль подошел к нему и совершил то, что обещал?! «Лжец!» – крикнул ему векиль и следующий раз появился уже с тобой, – голос перешел на шепот.

Унжу напряг слух, но шепот был уже неразборчив. Внезапно в бочках вспыхнуло. Унжу даже не понял в первую секунду, почему испугался, – это было солнце.

– Эй, десятник, – сказал он и засвистел бешено и длинно, как свистел, когда гнал табун, – подойди сюда и позови векиля, я хочу сообщить ему важное, если ты не сделаешь этого, тебе отрежут ухо… Десятник, – он опять засвистел и стал биться на столбе, насколько позволяли колодка и веревка на шее.

Дверь сторожки в глубине двора приоткрылась, десятник был тот же, с рыжей бородой, идти через мокрый двор десятнику не хотелось.

– Векиль придет после вечернего намаза, а может, и не придет… Не свисти, ты сам будишь мух.

Унжу подождал, пока дверь закрылась, попробовал напрячь шею и придавить горло веревкой. И давил, давил, чувствуя, как наливается кровью голова и как уходит сознание. Потом услышал свой сип, сознание ушло, но жадное тело потребовало воздуха. Дворик приобрел свои очертания, все вернулось – бочка, земля, проплешина снега напротив будто бы уменьшилась, и уже не снег в бочке – вода слепит, отражая солнце, воздух теплеет, птицы поют. Где‑то шумит город, там, за стеной, будто слышны скрип телег и тысячи шагов. Вероотступник не то что‑то бормочет, не то поет «Колесо, колесо… ось кривая, спица не влезает», что ему там мерещится.

– Не будет так, не будет, – сипит Унжу, он опять напрягает шею и жмет, жмет кадыком на веревку. Надо передавить горло, чтобы оно лопнуло до конца. Дай, Аллах, силы, еще… Липкое течет из носа, это, наверное, кровь, это хорошо.

– Эй, хан!..

Внизу у бочки пятеро нукеров в медных наплечниках и нагрудниках в тонкой резьбе – дворцовые гвардейцы. Они добродушно улыбаются. Рыжебородый десятник с ними. В дрожащих руках у десятника табличка.

– Эй, хан, зачем ты так высоко залез? Слезь, пожалуйста, очень тебя просим…

В наплечниках гвардейца проплывают облака. Десятник кивает, торопливо отпирает колодки на ногах Унжу, отпускает блок, и Унжу тяжело брякается книзу к основанию столба.

– Умойся, хан, умойся, не хочешь из бочки, потри лицо снегом… – Старший из пришедших нукеров отзывает десятника в сторону, к стене. Они о чем‑то толкуют, десятник зовет своих из сторожки.

– Колесо, колесо, – бормочет на столбе сумасшедший старик.

Хлипкий удар, и, когда Унжу поднимает голову, он видит, что гвардейцы рубят местную охрану своими короткими мечами. Выдох, удар, шлепок. Те даже не сопротивляются. Только десятник поднял руки, чтобы закрыть голову Кряк, голова рассечена, и кисть руки с табличкой отвалилась.

Что это, зачем, почему? Унжу, как собака, трясет головой, пытаясь собрать мысли.

– Эй, умеешь так, кипчак? – гвардеец нагибается, берет из отлетевшей кисти табличку, моет в бочке и сует под нагрудник.

– Я умею лучше, – сипит Унжу и сплевывает.

– Подбери себе сапоги, – посмеивается гвардеец, – нехорошо хану ходить босым, – и уже своим: – Подвесь вон того рыжего вместо хана. Пошли, хан.

– Погоди, – Унжу лег на землю, закрыл глаза и попробовал обратиться к Аллаху.

Но мешали шаги, ругань, скрип блока, которым подтягивали тело рыжего на столб.

– Возьми старика тоже, – Унжу натянул брошенные сапоги и кивнул на столб, где сумасшедший безбожник все бормотал про колесо. – Он провисел здесь одиннадцать дней, много слышал и будет интересен тем, кто тебя прислал. Его размышления забавны. – Унжу засмеялся, подавляя в себе что‑то, что, он и сам не мог определить, потом встал и побежал по двору, ноги не слушались, и он упал два раза.

– Эй, ты, – Унжу повернулся к столбу, с которого снимали старика, – что ты там болтал насчет тетивы и стрелы? Оказывается, все не так, и в этом мире Аллах увидел именно меня, а?!

– Мысли человека постигаются мгновениями, мысль Аллаха бесконечна. – Старик обвис на руке гвардейца. Тот брезгливо сплюнул, осмотрелся, выглядывая, во что бы завернуть смердящее тело, не нашел и, взяв старика под мышку, как куль, пошел следом за Унжу.

– Подойди ближе, – голос был негромкий, почти ласковый, и глаза старой женщины смотрели спокойно, – мои глаза часто болят и плохо видят на расстоянии, но мои уши иногда слышат не хуже твоего кагана.

Маленькая девочка с бритой головой и золочеными руками взяла Унжу за плечо, он прополз на коленях еще несколько метров и оказался совсем близко от трона и от ног Великой Туркан, матери Великого Мухаммед‑шаха. Ноги были большие, странные для маленького тела.

– Почему ты сипишь, кипчак?

– Я повредил себе горло веревкой. Я хотел умереть, когда твой сын не поверил мне, а Кадыр‑хан забыл про меня. Я прошел разное, ты можешь велеть раздеть меня и увидишь шрамы на моем теле, но я боялся солгать, когда мухи начнут есть мне голову. Потому что так солгали двое до меня.

– Мой сын горяч, а кипчаки отважны, но не всегда умны. Когда кипчаку кажется, что он умен, он порождает только странности в этом мире. Ах, Кадыр‑хан, Кадыр‑хан… Значит, он так и не видел тебя после семи лет, – она засмеялась.

– Да, Великая…

– Ты должен называть меня полным именем, а если ты напуган и память изменит тебе, ты должен переждать, пока будет говорить девочка. И продолжать вслед за ней.

– Туркан‑хатун, Владычица Вселенной, мать Великого, царица всех женщин мира… – девочка говорила необыкновенно странным мелодичным голосом. – Ну? – девочка тронула Унжу за вспотевшее ухо.

– Я был послан к монголам семь лет назад Кадыр‑ханом и всегда был верен ему, потому что я кипчак, но был верен твоему сыну, Великому шаху, и тебе, ведь ты тоже кипчакского рода и не можешь не думать об огне, который первой спалит именно нашу землю и выжжет именно наши города. Кому нужна в этом мире земля без кипчаков?! Так мне сказал Кадыр‑хан, отправляя меня. И так думал я и прошел путь от раба до тысячника в войске кагана. Я овладел языками и приемами боя, я познал хитрости их лазутчиков и то, как шепот в нашем доме долетает до их ушей. И знаю, как каган может взять ключи от наших ворот. И как каган умеет обрушить небо на землю. – Говорить было легко, слова сами неслись из горла.

Старая женщина, сидящая на троне, который напоминал большое золотое блюдо, внимательно слушала и кивала. Гулям, старший слуга с необыкновенно красивым и умным лицом, тоже слушал и тоже кивал. За троном горели факелы, позади было окно, ветка дерева в цветах скребла по мокрой решетке и, казалось, тоже кивала.

– С тобой говорили из Багдада… люди халифа Насира? – голос вдруг стал сух, не похож на прежний. Лица Гуляма и даже девочки сразу изменились.

– Нет, Великая, меня уже спрашивали об этом, перед тем как поднять на столб. – Унжу сбился и не знал, что говорить.

– Называй меня полным именем…

Девочка быстро заговорила все титулы Великой, и Унжу опять повторил:

– Меня уже спрашивали об этом и потом подняли на столб… – Пот залил лицо и шею Унжу.

Девочка тут же промокнула пот странно пахнущей салфеткой.

– Сначала ты отдохнешь здесь, познав немного радости, потом ненадолго вернешься туда обратно. И со столба признаешься моему великому сыну, мечу Аллаха, что ты был не в Китае, а в Багдаде, что люди халифа Багдадского хотели бы видеть на нашем троне старшего сына Великого Джелал эд‑Дина. И чем скорее, тем лучше. Что в Багдаде ты сам видел великого визиря, когда он якобы болел оспой здесь. А уж после люди халифа нарочно нанесли ранки на его лицо. Ты узнаешь многих, кого видел в Багдаде, в том числе людей Джелал эд‑Дина. Гулям покажет их тебе из носилок. Тимур‑Мелика например…

– Но я никогда не был в Багдаде, Великая, – руки Унжу дрожали, и он, как тогда, у шаха, оперся ими об пол, чтобы унять эту дрожь.

Девочка опять поспешно поправила его, произнесла титулы.

– Ты был в Китае и даже изучил их язык… Помогло это тебе в жизни? – Голос засмеялся. – И хорошо ли будет туркмен Джелал эд‑Дин защищать кипчакские степи? Что тебе в нем?!

– Их не надо защищать. – Опять пришло отчаяние. – Надо двинуть армию… двинуть армию и прижать проклятого кагана к невзятым китайским городам и отсечь его от собственных стойбищ… Как хорька от норы… Я не глуп, как ты сказала, я изучал медицину и старые труды… Спроси меня… Если каган повернет своих коней сюда, он поведет уже не только коротконогих монголов. – Унжу заплакал. – Ты сказала, что твои глаза плохо видят на расстоянии, но, поверь мне, он пропитает степь человеческим салом. И зловоние достигнет вечного неба. Я видел, я знаю.

– Солдатам кажется, что они много видят с седла. Так же, как муравью, забравшемуся на травинку, кажется, что он видит мир. Про мои больные глаза дозволено говорить только мне. Но я прощаю тебя. Мой великий сын, Потрясатель Вселенной, любит угадывать и любит, когда его догадки подтверждаются… Ты будешь прощен не позднее первого мороза и получишь тысячу в Хорезме. Ты утомил меня, дальше тобой займется Гулям. Прощай, кипчак.

– Прощай и ты, Великая. – Унжу растер слезы на лице, они смешались с потом и были липкими. – Китайские врачи подвешивают к глазам специальные кристаллы, и человек легче видит…

– Пустяки, – она махнула рукой, слезла с трона‑блюда, но не ушла, а коснулась пальцем лба Унжу. – Я же объяснила тебе, что совсем необязательно видеть священный Багдад, чтобы рассказать о нем, – она все держала палец на его лбу. – Векиль обещал тебе легкую смерть, если ты кое‑что скажешь моему сыну. Теперь, когда ты скажешь обратное, ты сможешь кое‑что обещать векилю. Жизнь тем интереснее, чем с большей горы ты за ней наблюдаешь. Кипчаки же живут в степи…

Унжу кивнул, еще не сознавая, что делает, только чувствуя царственный палец на лбу.

Владычица Вселенной повернулась и, тяжело ступая больными ногами, опираясь скрюченной рукой на бритую голову девочки, пошла куда‑то к окну, там был проход, и оттуда возник негр с факелом и большим золотым кольцом в носу. Из‑за парчовой занавески за троном Унжу не предполагал, что там есть пространство, вышли семеро лучников и, убирая на ходу длинные гибкие стрелы, двинулись следом за Великой, неслышно ступая в своих желтых верблюжьих сапогах.

Ветка за окном все кивала, кивала под струями дождя.

На плечи Унжу легла крепкая дружеская рука, Гулям был высокий и гибкий, голубоглазый, как Унжу, только волосы не черные, а желтые.

– Ты иноземец? – Унжу было неприятно, что у него заплаканное лицо.

Гулям поцокал языком.

– Мой прежний бог, тот, которого я знал в детстве, – Гулям шел рядом, мягко и любовно сжимая плечо Унжу, – тот мой детский бог сам придумал пробить себе руки вот такими гвоздями, видишь ли, он находил в этом какое‑то удовольствие. Ты был интересен Великому, думаю, он и сейчас не утратил этого интереса к тебе, и ты умен… и поэтому можешь так много… Мы здесь следили за твоим возвышением, но ты ведешь себя так странно, даже дико, прости меня… Кстати, Кадыр‑хан, пославший тебя к монголам, здесь, в своем дворце, а не в Отраре. Он ничего не сделал, чтобы выручить тебя, и, если ты, конечно, пожелаешь, его вполне можно перечислить среди лиц, которых ты видел в Багдаде.

– Я это сделаю, – кивнул Унжу.

Они вышли в сад, и дождь оглушительно ударил по огромному кожаному зонту, который несли два раба.

Ургенч услышал крик и вой и, схватившись за уши, долго сидел над водой, что‑то бормотал и пожимал плечами.

Великая повелительница всех женщин спала, и храп ее вспугнул ночную птицу.

Унжу лежал на низкой мраморной лавке у роскошного бассейна с теплой прозрачной водой.

Два негра медленно втирали в его мышцы душистые масла, голова кружилась, Унжу остро хотелось смерти, и, чтобы преодолеть это желание, он улыбнулся.

Гулям в халате поцокал языком.

– Какое у тебя мощное тело, даже у нубийских рабов нет таких ног. Сожми мне руку, хан, сильнее. – Рука у Гуляма как железная.

Унжу рвет эту руку раз, другой.

– А‑а‑а, – этот крик Унжу вложил во всю силу рывка, и оба летят в воду – голый Унжу и Гулям в парчовом халате.

Негр с куском полотна в тревоге побежал вокруг бассейна.

– Я пришлю к тебе женщину из Египта, которая выше тебя. Великая, – вдруг шепотом говорит Гулям, – иногда любит смотреть на подобные игры, она любит жизнь, и ее радуют молодые тела, постарайся не разочаровать ее.

– Лучше китаянку с маленькими ногами.

– Как же ты объяснишь ей, что тебе нужно? Ведь старый китаец поклялся, что ты не знаешь язык… Может быть, в горах… – Гулям необыкновенно похоже передразнивает вдруг китайца и добавляет вдруг негромко, врастяжку: – Подумай, я, великий Гулям, в доме владычицы полумира, а возможно, далеко, я сам не знаю, где точно, где‑то за туманными морями, где всегда много снега, живет моя мать. Ты только подумай!..

В эту ночь последние, видно, тяжелые, полные дождя и снега тучи уходили от Великого океана на запад, на запад, открывая землю в ее кажущемся совершенстве. Ласково мигали будто далекими кострами невидные с высоты, превращенные в пожарища затухающие китайские города. Надо спуститься, чтобы разглядеть стаи мелких, одичавших бесшерстных китайских собачек, не лающих уже от страшной сытости. То здесь, то там огоньки юрт, заброшенных в бесконечность, и надо было бы опять резко спуститься, и тогда возникли бы звуки сначала ветра, потом шелест травы или крик муллы, или скрип тяжелого колеса, или посвистывание монгольского мальчика, одного гонящего куда‑то целое море усталых, босых и рваных полубезумных людей. Прилетал и исчез вдали монгольский нукер‑почтальон с колокольчиками. Срочно‑срочно звонит колокольчик, и вот скачет монгол один под звездным небом: что за записка в его стреле, кому? Но и его мелкому быстроходному коню не угнаться за тучей.

Тучи же задевали горные хребты, проливались дождями, плюнули колючим снегом и, сталкиваясь, гремели грозами. А вот и город в свете молнии с высокими стенами, минаретами, там внезапно заплакал ребенок и что‑то нежное проговорила ему мать.

Много странного творилось в эту ночь на земле.

Старик‑осквернитель ислама, снятый Унжу со столба и выброшенный гвардейцами, потому что был никому не нужен, спустился к реке напиться, нащупал ладонью журчащую воду и вдруг увидел незрячими глазами бесцветным пламенем пылающий Ургенч, услышал крик и вой и, схватившись за уши, долго сидел над водой, что‑то бормотал и пожимал плечами.

Великая повелительница всех женщин спала, и храп ее вспугнул ночную птицу.

В это же время Чингиз, или Великий каган, вышел из шатра, потому что у него болел живот, и, обогнув шатер, глядя в ласковое даже в тучах китайское небо, сказал черби‑управляющему, который принес сосуд с горячей водой, что число стран под этим небом велико, а жизнь человеческая коротка, и что ему, Великому кагану, хотелось бы посмотреть и другие страны и города, что в этом продление его лет и что китайские бараны слишком жирны.

Живот сильно болел, каган охал и плевался, точно попадая слюной в белый камень.

В этот же ночной час Великий шах, меч ислама, проснулся в палатке тысячника конвойной тысячи от укуса блохи, долго вспоминал, почему он здесь, вспомнил и вышел. Небо очищалось, проглядывали высокие звезды. Мир входил в привычное. Шах кивнул себе, размышляя об этом, тысячник принес теплый халат, и они поднялись сквозь спящий лагерь к белеющему на холме шатру, ибо если то, на что намекал купец Ялвач, случилось, то этому было время. Так Великий и сказал тысячнику.

Сырой тугой ветер громко трепал флаг у шатра Великого, все там казалось в порядке, и, надеясь, что вблизи будет так же, шах не отказал себе в удовольствии оттянуть познание приятного.

Обходя шатер, они увидели сотника, который спал сидя. Тысячник ахнул, ужаснувшись непорядку, ударил сотника ногой, тот повалился на спину, голова у него была рассечена и щека висела. Белый натянутый шелк шатра был пробит, из трех черных дыр торчали тяжелые древки копий.

Шах повернулся и побежал вниз, скользя по мокрой земле.

Последняя молния последней грозы в этом году ударила над Ургенчем из самого края тучи и удивила тех, кто не спал и поднял в этот момент глаза к небу. Огненная стрела летела будто из звезд и зажгла на реке большую баржу с хворостом. Грозы со снегом случались и раньше, будут и позднее, но люди запишут в летописях именно эту грозу, потому что то, что случилось позже, было так страшно, что заставило этот снег и эти молнии считать предвестниками беды. Эта последняя молния разбудила Унжу.

Китаянка с нарумяненным лицом спала рядом. Унжу был гол, одежду отобрали, гулко билось сердце, и дышалось легко, будто он в степи на коне.

Пора, пора, пора – билось сердце. Голый, обдирая спину, он пролез в окно.

Павлины, с грязными после дождя хвостами, топоча, пробежали мимо. Голый, он прошел по саду, ощущая мокрые ледяные ветки на груди и ногах. Под кустами белых, с дурманящим запахом цветов Унжу выкатался в черной грязи – голое тело было слишком заметно.

Он долго лежал на стене, пока не дождался, прыгнул, ударом ноги в шею убил сторожевого нукера и посидел рядом с ним на корточках, пока тот кончался.

Жизнь у Унжу была разная, прямая, как кипчакское копье, и извилистая, как змея. Он убивал много, но никогда не убивал своих. Сейчас он преступил это и, уже раздев нукера, посадил его, как полагается мусульманину, и, глядя в мертвые неудивленные глаза, сказал:

– Если твоя душа еще здесь, ей будет легче сознавать, что я сделал это по воле Аллаха, сам превратившись в его стрелу. Настолько, насколько он пожелает.

Сабля у нукера была ургенчская, он ее выбросил, кинжал же хорошей стали Унжу убрал под рубаху.

– Ха! Ха! – перекликались часовые.

Унжу перелез еще через одну стену, побежал по улице, видя себя в чистых, незамутненных лужах. У одной лужи он остановился, хотя грязное лицо было страшно, он чем‑то понравился себе, вдруг негромко издал боевой клич монголов, идущих в атаку: – Кху! Кху! – и выставил вперед кинжал. Жизнь замыкала круг.

Так он долго бежал, иногда останавливаясь и нюхая воздух, что‑то шептал при этом и сам себе кивал головой. Перед ним открылась улица без луж. Вода в арыках весело звенела, и сами арыки напоминали маленькие речки с висячими мостиками. А цветные фонарики за дувалами ласково мигали.

Глаза у китайца, того самого, что три дня назад объявил Великому, что Унжу не знаком с китайским языком, стариковские, нелюбопытные. Даже сейчас, когда в зрачках свет от фонариков из сада, они все равно мутные. «Э, да он слепнет», – подумал Унжу.

– Не дави ногой на дощечку, китаец, от этого только сведет ногу. Сигнальную веревочку я перерезал, ты же помнишь, мне пришлось побывать у тебя на родине… А твой индус, – Унжу подул на острие кинжала, – теперь его душа пролетает, возможно, над очень высокими горами… Там, в Индии, река, такая широкая река, китаец, и там собираются все их души… Как они ошибочно верят!.. Интересно, куда полетит твоя душа?! Может, останется здесь?! Ответь мне и, пожалуйста, на своем языке, куда делись те листы, которые лежали в саду у Великого… Видишь ли, они дались мне не просто.

Китаец молчит, только рот приоткрыт, дышит неслышно, но жарко.

– Хорошо, говори на моем. Они остались в саду под снегом?

Китаец кивает неторопливо. Будто гости, будто беседа, будто не смерть пришла.

– По‑моему, ими вытерли животы гепардам, – говорит китаец, – мне кажется, я видел, как слуга делал это… Впрочем, я стар, и здоровье мое не таково, чтобы я мог долго оставаться на холодном ветру, если этого не требуют дела…

Теперь уже Унжу чувствует, как у него открывается рот и как трудно воздух проходит в легкие.

Локоть сам делает движение вперед и чуть вниз, нет усилий, чтобы проткнуть кинжалом этот живот без мышц. И мыслей нет.

«Вытерли животы вонючим, ленивым кошкам», – вот и вся мысль.

– Больно, очень больно, – говорит китаец по‑китайски, – вот и кончилась жизнь, зачем? – Он становится на четвереньки, прижимает халат к животу. – В шкатулке, – китаец говорит быстро, боясь не успеть, – имена моего рода. Прочти их надо мной, кипчак. Это зачтется тебе у твоего Аллаха.

– Твой род не поймет меня, – Унжу оскалился и не отводит глаз от дрожащих век китайца, – ведь это ты сказал, что мой язык не похож на язык твоей родины. А мне так это тогда было нужно, и меня удивили твои слова… Я лишь слегка ткнул тебя. Ты будешь умирать долго, старик, и у тебя будет время подумать… Ты успеешь вспомнить свою родину, что так важно иногда… Как я предполагаю, Аллах все‑таки выбрал меня своей стрелой, на время конечно. – И, уже уходя, Унжу услышал, как китаец длинно и протяжно закричал. Унжу кивнул себе, подпрыгнул и дернул веревку с фонариками. Фонарики весело замигали, будто отвечая на сиплый крик.

Унжу прошел по длинной узкой улице, было тихо. Когда узкая улица вошла в широкую, Унжу сразу увидел ночную стражу на толстых крупных конях. Сворачивать было поздно, Унжу пошел прямо на них и не дошел шагов двадцать, когда те вдруг лениво тронули коней и уехали в проулок. Унжу, уже обернувшись, увидел мокрые гладкие зады лошадей, услышал смех и кашель и опять сам кивнул себе.

Улица спустилась к реке, он зашел в мягкий ил у берега и поплыл. Большие баржи с хворостом стояли недалеко, он залез на ближнюю и заполз в хворост.

Огромный город только начал просыпаться, лужи высохли, и город из тысяч домов, дворцов, мечетей, караван‑сараев был подернут легким туманом, испаряющейся влагой. Когда проглянуло солнце, Унжу спал, и лицо его во сне было торжественное.

Днем он прокрался на пустырь за низким серым дворцом, обнесенным красными кирпичными стенами, там забрался в низкие пыльные кусты и стал ждать.

Крупная пчела с гудением зависла над кустом, гудение чему‑то мешало, и вдруг Унжу понял, что почти неслышно напевает то, что пели монголы в караулах. Он отломал колючку и больно уколол собственный язык.

– Я наказываю тебя, мой язык, – сказал он голосом старика – «осквернителя ислама» и тут же хихикнул, – но неужели, когда мы вырубим монголов, я буду жалеть их и петь их песни.

Ночью кипчакские солдаты, медленно переговариваясь, объезжали дворец, и Унжу показалось, что он видит знакомые лица и слышит знакомые голоса. Он еще подождал, потом вылез из кустов и пошел через пустырь рядом со своей длинной и корявой тенью, тень несла железную палку, похожую на обломанное копье.

Унжу перелез через ограду, прополз через сухой в колючках сад, железной палкой разогнул решетку на окне башни, пробежал темным знакомым переходом, тихо открыл знакомую дверь и сел на корточки над спящим десятилетним мальчиком.

– Лежи тихо, юный хан, – Унжу прижал голову мальчика к ковру и, когда тот открыл глаза и завертелся, добавил: – Я думаю, с тобой ничего не случится, – выдохнул и пронзительно засвистел и завизжал, как визжали монголы, когда шли в атаку. Потом вытянул кинжал и опять стал ждать.

Приближались голоса, шаги, брякало в темноте оружие, и Унжу успел удивиться, что кинжал подрагивает, не подумав, что это дрожит его рука. Комнату сразу и вдруг залил свет факелов, и знакомый с детства голос сказал:

– Мы ждем тебя со вчерашней ночи, Унжу.

– Здравствуй, Кадыр‑хан.

Губы у юного хана дрожат и кривятся, и в свете факела дрожит похожая на вытянувшуюся каплю родинка на переносице. У кого он видел эту родинку? Пот заливает лицо и глаза, Унжу вспомнил, и свет факела будто сделался ярче.

– На каждого самого хитрого волка есть охотник еще хитрее. Так создал этот мир Аллах, – говорит голос.

Унжу медленно опускает кинжал, вставляет острие себе в пуп.

– Ты правильно понял, – говорит голос из‑за факелов, – это действительно сын твоей кормилицы, и эта родинка, как капля дождя на лице скачущего, а?! Такие редкости?!

Голос засмеялся, и еще голоса засмеялись там тоже.

– Отпусти мальчика, что проку в его жизни.

Мальчик, всхлипывая, уползал по ковру, и лужица уползала за его ногами.

Унжу схватил тяжелую деревянную табуретку и пустил в факелы, люди там шарахнулись, раздался крик.

Унжу опять прижал острие кинжала к животу:

– Ты такой хитрый, Кадыр‑хан, что чуть не перехитрил самого себя. Мне надо было просто сказать, что я был в Багдаде, а не в Китае, и встречал там не только Тимур‑Мелика, но и тебя. Только и всего. И сейчас бы ты отыскивал ножом свой царственный пуп, и то, если бы тебе повезло. Ты отдал меня палачам, Кадыр‑хан, я принес тебе плату, на, – Унжу плюнул.

Все он мог представить в жизни, даже собственную смерть, только не этот плевок и не эти слова.

– Осветите меня, – сказал голос из темноты.

Факелы переместились, высветив темно‑багровым светом высокого человека с тяжелым капризным лицом и длинными мощными руками со сцепленными перед собой пальцами. Слуги были в кольчугах, Кадыр‑хан – нет.

– Уйдите все. – Кадыр‑хан взял светильник из чьих‑то рук. – Хочешь арбузного вина? – он шел к Унжу, нарочно наступив в лужу, оставленную мальчиком.

В доме купца Махмуда Ялвача второй день, не прекращаясь ни на минуту, шел обыск. Прямо на улице и в саду жгли высокие костры, тени плясали на дувалах, в домах вокруг никто не спал, но огня не зажигали, боялись. Посвистывая, бегали по улице рабы, носили с реки воду лошадям.

В доме у Ялвача стены были взрезаны, земля в саду просеяна, на ней разложены и разбросаны товары. Нукеры Великого ходили по бесценному шелку, не вытирая сапог. В караван‑сарае ревели и бились верблюды, напоенные настоями со слабительными травами. Солдаты с факелами палками рылись в жидком навозе. Слуги и домочадцы, из тех, кого не увезли в Башню скорби, были в доме, без одежд; потные от страха, они уже не стеснялись наготы. Только Ялвач был в мелко вспоротом халате, он медленно пил молоко, понемногу отщипывая от сухой лепешки.

Наконец сотник конвойной сотни зевнул, потянулся и приказал рабам заливать костры. И под шипение этих костров двое осторожно взяли Ялвача и посадили на лошадь впереди сотника. Тот свистнул, тяжелая лошадь сразу взяла в галоп, встречный прохладный еще ветер обдул голое под халатом тело, мгновенно высушив пот.

В Башне скорби, или «Веселой башне», как ее тоже называли в Ургенче, босоногие индусы большими тряпками мыли затоптанный грязный пол.

Ялвач и сотник прошли коротким каменным коридором, здесь на полу сидели люди: кто на корточках, кто, раскинув ноги, кто босой, кто в туфлях, кто в зеленых или желтых ханских сапогах. Какие ханы, ах, какие знатные ханы сидели здесь, даже не переодевшись после последней охоты на летнем снегу. В конце коридора дверь. Старик пошептался с человеком в пропотевшем халате и кожаном фартуке. Два раза сотник кивнул, вернулся к Ялвачу и вдруг, весело ущипнув его за мочку уха, простуженно просипел:

– Твои дела хороши, купец. Ты должен сделать мне подарок.

Люди, сидевшие у стены, смотрели прямо перед собой, никто ни с кем не говорил.

Человек в фартуке открыл тяжелую дверь, пропустив Ялвача и сотника. За дверью была темнота, еще дверь, глаза постепенно привыкли к свету, пахло паленым мясом и дымом от углей. Сначала Ялвач увидел огромного человека с большим белым, будто посыпанным рисовой мукой лицом, который пил воду из глиняной бутылки, какие‑то крючья, какой‑то желоб на полу, что‑то накрытое тряпками в рыжих пятнах, и вдруг сразу и близко двух своих сыновей. Сыновья сидели рядом со странно опухшими безучастными лицами, кожа на лицах будто водой налита.

Ялвач ахнул, подавился слезами, сел на мокрый скользкий пол и стал гладить эти лица и руки. Одному было пятнадцать, другому шестнадцать. Они всегда были не похожи друг на друга, сейчас не различишь.

– Мы не трогали их, они только смотрели, – сказал огромный человек и опять попил воды, – мы расспрашивали твоего раба и писца, – он кивнул на то, что было накрыто тряпками в ржавых пятнах, – в какое время ты ходил в Багдад. Они все согласились, что ты ходил в Багдад, и твои дети тоже согласились, но никто из них не смог описать Багдад… Здесь все соглашаются со всем. Ты можешь забрать своих детей, купец, они скоро оправятся и будут на редкость послушными…

– Дети мои, дети, за что, за что?! – рыдал Ялвач, пытаясь поднять то одного, то другого, но ноги скользили, или дети вдруг стали тяжелыми.

Сотник взял обоих под мышки, давно не спавший солдат открыл боковую дверь, и вдруг они оказались на ярком утреннем солнце в чистом зеленом дворике, и Ялвач услышал гудение пчел.

Сотник поцокал языком и сказал, что за тридцать дархемов их доставят домой и еще за десять для них найдут здесь вполне хорошую одежду, любую по твоему вкусу, – и хохотнул.

Ялвач же плакал, стоя перед детьми на коленях, и гладил им руки.

Калитка в стене отворилась, и быстро вошел визирь. После полутьмы зрачки у него расширились, как у кошки. Визирь наклонился и положил на ладонь Ялвача маленький браслет с большой жемчужиной.

– Этот браслет украшал руку Великого в раннем детстве, – визирь послушал гудение пчел. – Великий доволен последней охотой, так он велел сказать. Великий велел тебе отправиться к кагану, и пусть караваны ходят туда и обратно, и пусть Великий знает все, – глаза визиря вдруг впились в глаза Ялвача, – все ли ты сказал нам, что мы должны знать для спасения правоверных? Ведь есть вещи…

Младший сын Ялвача завозился, облизнул губы и затих, ненависть не дала Ялвачу сразу ответить, она мешала дышать, поэтому он улыбнулся.

– Все, великий визирь.

Выходя за калитку, визирь вздохнул, пожал плечами и что‑то пробормотал. Потом резко повернулся, взглянул на Ялвача и постоял так.

В доме сыновей уложили на ковер, их поили по капле каким‑то отваром, обнаженные их тела казались Ялвачу такими беззащитными и слабыми, что он все время плакал. Во дворе слуги скатывали товары в тюки. Погонщики, переговариваясь, щетками терли верблюдов. Старшая жена попробовала выть, но Ялвач ударил ее кулаком по голове. Лекарь стал пускать детям кровь, кровь брызнула и попала Ялвачу на руку. Ялвач быстро пошел к себе. За ним шел управляющий и караван‑баши. Караван‑баши сказал, что трогаться можно через два дня, и спросил, где писец.

– Трогаться завтра, – приказал Ялвач, а на вопрос, где писец, ласково улыбнувшись, ответил: – Одни мои друзья срочно отправили его в Багдад.

– Когда вернется?

– Ты непременно встретишься с ним, но не скоро…

Что‑то в его ответе заставило их испугаться. В комнату к себе он их не пустил, сюда вообще никто не смел входить. Молоко, которое он пил, по‑прежнему стояло на месте, недоеденная лепешка лежала здесь же, он разломал ее об колено, запустил палец в тесто и вытащил тонкую пластинку на шелковой нитке, потом протер ее большим пальцем. Пластинка вдруг странно блеснула. Солнце отразилось от нее, Ялвач подышал и потер ее о халат. На тонком, чуть выпуклом золоте явственно проступал леопард с толстым хвостом, загнутым, как кольцо. Руки дрожали, и Ялвачу вдруг показалось, что леопард бежит ровными и сильными скачками.

Лицо Кадыр‑хана багровое и стекло вниз, такие лица бывают, когда монголы закатывают человека в войлок, подержат немного, потом выпускают – все сам скажешь.

– Ты вообразил себя стрелой Аллаха… А ты просто грязь на хвосте лошади твоего кагана… Ведь тебе нравится каган, а Унжу?!

– Нравится, – кровь в висках Унжу тоже лупит так, что кажется, вот сейчас вылетят глаза, но он спокойно покачивается, сидя на пятках, и прихлебывает арбузное вино. – Каган не предает тех, кто ему служит…

– Может быть, и так, может быть, и так, – соглашается Кадыр‑хан.

Унжу качает головой, прихлебывает вино, багровей, Кадыр‑хан, багровей.

– Ты должен был сделать одно, может быть, ради этого появился на свете весь твой род, из которого ты остался последним, ты должен был крикнуть в лицо Великому правду о том, что нас всех ждет, и умереть на столбе… Великий всего лишь человек, и правда из глотки мученика могла бы заставить его на что‑нибудь решиться… Я послал пятерых, и трое из вас вернулись, но никто из вас, слышишь ты, проклятый, никто не сделал этого. Когда смерть уставилась вам в глаза, вы все предали меня. Мой народ несчастен, потому что не смог родить мученика, ни одного…

– Верно, – Унжу кивает и, не мигая, смотрит в глаза Кадыр‑хану. – Исправь свой народ, Кадыр‑хан, стань им.

– Кем?

– Мучеником! – орет Унжу. – Это так просто, Кадыр‑хан. Ты рядом с Великим каждый день. Крикни ему. То, что выскочит из глотки такого большого человека, как ты, произведет впечатление, верно?! Но у тебя золотые туфли – это обязывает жить! Крикни, Кадыр‑хан! Встань на Великом совете, и, клянусь матерью, которой я не помню, я повторю все это со столба… Но зачем тебе делать это, когда есть такие, как мы. Ты воспитал меня в своем доме. Так вот я плюю на тебя и твой дом. Я для этого жил последние дни. – И, напрягшись, Унжу плюет плотным тяжелым плевком к ногам Кадыр‑хана. – Зови нукеров, я кое‑что крикну им, я успею.

– Я сам, я сам, – хрипит Кадыр‑хан и внезапно легко для своей огромной фигуры, размахнувшись, бьет Унжу ногой в золоченой туфле в лицо, так что нос у Унжу хрустит.

Кадыр‑хан заворачивает Унжу голову и бьет его коленом в живот раз, другой. Кровь из носа Унжу заливает халат и грудь Кадыр‑хана. Неожиданно Унжу видит их обоих в поставленном боком медном индийском подносе, видит один миг, он чувствует опять удар, собственный слабый сип и видит монгольских коней, идущих рысью по зеленой в цветах траве, которая краснеет на глазах.

Круглая резная спинка высокого медного стула слепила, отражая солнечные лучи. Унжу почудилось, что стул шевельнулся, солнечные блики переместились и детский голос попросил:

– Не толкайся же, не толкайся, ну, я прошу тебя…

Второй детский голос засмеялся, и кресло опять сдвинулось, ударив солнечным лучом по глазам. Унжу открыл и закрыл рот и попросил:

– Выйди из‑за кресла, юный хан. В моей памяти ты так мал…

За креслом затихло, там кто‑то два раза икнул. Потом что‑то промелькнуло, простучали шаги, и где‑то далеко упал таз. И тут же, будто таз все катится, забрякали кольчуги. Вошли двое нукеров и Кадыр‑хан в шелковом расшитом золотом чапане, в зеленых в бисере сапогах.

Нукер ногой отодвинул в угол миску нарына, жирный нарын плеснул на медь сапога, сделав ее матовой, двое других взяли Унжу за руки и ляжки, проволокли и положили перед креслом лицом вниз.

– Кадыр‑хан, я подобен собаке, которая укусила своего господина. – Унжу хотел повернуться на бок, но ему не дали. – Правда, она перед этим долго служила ему, отгоняя волков от его отар… Я устал.

– В молодости я только приобретал, сейчас только теряю… – пробормотал голос.

Унжу поднял голову.

Кадыр‑хан сидел в медном кресле не так, как представлял себе Унжу, он сидел, сгорбившись, сцепив пальцы на коленях, и в глазах у него была тоска. Унжу показалось, что они похожи сейчас. Хотя, впрочем, если посмотреть со стороны, так оно и было, даже головы они держали одинаково, набок.

Где‑то в доме кричали два детских голоса, потом один заплакал. Кадыр‑хан послушал эти детские голоса и заговорил торопливо:

– Ночами я не сплю и много размышляю, – он почесал большим пальцем горло под бородой. – Если Аллах не воздвигнет неприступные горы между ним и нами где‑нибудь за Аноном, кагану стоит только потрясти дерево и наши города попадают, как спелые сливы в его высокую шапку У Великого больше солдат и конницы больше… И его солдаты готовы воевать всегда, а не только зимой… Но мы не единый кулак, мы даже не растопыренные пальцы, Унжу… Мы много маленьких злобных кулачков, ждущих случая, чтобы ударить друг друга… Великий боится армии, – Кадыр‑хан перешел на шепот, – боится своей матери, моей тетки, а она всего лишь женщина, не могущая добиться порядка даже в своем доме… Если Великий говорит одно, то она говорит другое и придумывает ему игрушки вроде похода на Багдад… Сейчас, когда правоверным надо объединиться, кому нужен этот поход, Унжу?! Старые испытанные мечи Великого, его полководцы изгоняются вон, если сомневаются в этом походе или еще хуже. Старший сын и наследник Великого Джелал эд‑Дин рожден от туркменки, это, конечно, плохо, но он великий воин, и если Аллах… – Кадыр‑хан посмотрел в глаза Унжу и замолчал, будто подавился. – Наши же кипчакские степи никому не нужны. – Теперь он говорил медленно и при этом, как старик, качал головой. – Здесь всерьез говорят, что наши табуны следует отогнать, степи выжечь и нам самим разорить наши города, чтобы каган шел по мертвой земле, тогда его коням и солдатам нечего будет есть…

– Они не повернут! – крикнул Унжу. – Они будут пить молоко своих кобылиц и стрелять крыс, но не повернут…

Кадыр‑хан кивнул:

– Поэтому твое дело было умереть на столбе, а мое – поднять стены Отрара на двенадцать локтей… Мои тридцать тысяч кипчаков как одно копье, – Кадыр‑хан ударил кулаком себя в грудь, – и это сделал я. И если желтоухий не уйдет, его дети, его внуки долго будут вспоминать нас в своих печальных песнях. Ты споешь мне их песни, перед тем как уйти?

– Не прогоняй меня, Кадыр‑хан.

Кадыр‑хан покачал головой, и они оба послушали, как в доме продолжают плакать два мальчика, остальное все было тихо, будто кроме них и этих голосов в доме и вовсе никого не было. Взгляд Кадыр‑хана ушел с лица Унжу.

– Оскорбление слабых сильными – только несправедливость, оскорбление сильных слабыми – и несправедливость, и позор. Так гласит закон. Но что мне закон?! Веселая башня после последней охоты приняла много таких знатных людей и даже не распухла, – Кадыр‑хан засмеялся, – ты убил китайца, слугу Великого, и слугу Великой ты тоже убил, а главное, слышал то, что не должен слышать маленький кипчакский хан… Тебя будут долго искать и найдут здесь или в Отраре. – Кадыр‑хан пожал плечами. – В мире тысячи дорог, так вот, я советую тебе выбрать самые дальние. – Он помолчал. – А твое лицо… Говорят, на Хорезмийском море есть место… там люди меняют себе лица… Не знаю. – Он тяжело встал, и пожал плечами, и уже от дверей добавил с улыбкой, которую когда‑то так любил Унжу: – Думаю, сегодня после нашей беседы я буду хорошо спать. Нельзя же все говорить только себе самому.

Унжу взял миску нарына и принялся есть, вылавливая мелко нарезанное мясо из остывшего густого бульона, он ел, давясь, жадно, стесняясь этой своей жадности, и, когда доел, сразу же заснул с открытым ртом.

Утром у изгиба реки Унжу выбрался из‑под груды коровьих кож, тихо снял штаны и рубаху, соскользнул с большой баржи в воду и поплыл к берегу, держа узел зубами. На берегу он прошел через жидкий камыш, сел, разложив мокрую одежду, сапоги, ремень, и воткнул рядом длинный, синей стали кинжал. Река, отражая солнце, слепила. Караван барж исчез за поворотом. Небольшое стадо ослов пришло напиться, и больше никого здесь не было. Он, голый, да река, да ослы.

– Так было, когда Аллах сотворил мир, – сказал ослам Унжу и покрутил пальцами перед глазами, потом тронул черную рукоять кинжала и добавил: – Наверное, он все‑таки сотворил мир без этого.

Ветер шевельнул камыш.

Караван‑баши разбудил Ялвача на рассвете, и, выйдя из юрты в белую от инея степь, Ялвач сразу же услышал далекий крик и посвист и увидел на холме знакомые нелепые фигурки – плотные крупные всадники на маленьких лошадях.

Караван испуганно просыпался, погонщики поднимали верблюдов, тоже белых от инея; на месте, где те лежали, оставались пятна теплой жухлой травы и земля, от которой поднимался пар. Лаяли собаки, и костры, в которые подкинули можжевельник, подняли к небу столб искр.

Мальчики, сыновья Ялвача, вышли за ним, на морозе их познабливало, он погладил их по плечам, взял медный светильник, заправленный маслом, зажег в огне костра ветку можжевельника и пошел к холму один, приказав караван‑баши идти за ним, не приближаясь ближе двадцати шагов.

Монголы, осаживая лошадей, спускались с крутого холма, были они в зимних рыжих тулупах, на которых поблескивали железные пластинки панцирей, и колчаны с длинными стрелами торчали из‑за плеч или болтались у брюха мохнатых коротконогих лошадей.

Монголы чему‑то смеялись.

Передний, поравнявшийся с Ялвачом, улыбнулся ему всем черноглазым сморщенным лицом, тулуп под железными пластинами был в заплатах, подмигнул, аккуратно двумя пальцами забрал у Ялвача светильник, задул и сунул в седельную сумку.

Ялвач тоже улыбнулся, приподнял край чалмы, освобождая лоб. Догорающая можжевеловая ветка высветила тонкую золотую пластинку на лбу, леопард на пластинке бежал, закрутив длинный хвост.

Лошадь фыркнула, пустив в морозный воздух две длинные струи пара.

Подъехал еще один монгол, поверх тулупа – синий длинный халат с полосками на рукаве. Монгол послюнявил палец и осторожно провел им по золотой пайце на лбу Ялвача. Потом заторопился, доставая из седельной сумки бубенцы, накинул их на шею первому монголу, что‑то крикнув, ударил его лошадь плеткой. Тот гикнул и пошел наметом, только громко зазвенели в степи бубенцы. Второй монгол неожиданно развернулся, посадив коня на хвост, бросил Ялвачу медный светильник, взвизгнул и исчез в морозном тумане.

На улице дождь, шатер из трех слоев китайского шелка пропитан смолой, но там, где провис, скопившаяся вода иногда проливается внутрь.

На шелковом полу бобами и разноцветными камушками выложены страны Мухаммед‑шаха, синими кусочками китайского стекла обозначены реки Сейхун, Джейхун, Зеравшан и таким же стеклом – Хорезмийское море. Камушки красные – селения, много красных камушков в кружок – город, обнесенный стеной, рядом маленькие обструганные палочки, каждая палочка – десять тысяч воинов. В ведрах запас еще камушков, еще палочек, еще синего стекла. Тени голов над всем этим – Ялвач видит свою ушастую тень. Капли сверху падают и как раз на большой красный кружок Ургенч, рядом с кружком – лужица, и восемь палочек вот‑вот всплывут.

– Что это там, где много синего стекла?

Каган простужен, Ялвач видит только тень, но не смеет повернуться.

– Это море, много воды, как степь, только больше… Этой воде не видно края.

– Там нет брода?

Каган там, наверху, чихает.

– Нет, там нет и дна. Его воду нельзя пить…

– Но ведь его можно обойти, – голос кагана смеется, – и за этим морем еще страна с горбоносыми бледными людьми и еще с какими‑то тоже… ведь так?!

Трещат светильники, чавкают за шатром шаги стражи, и нетрезвый голос вдалеке не то ругает человека, не то коня ищет. Раз, кричит, два, кричит…

Позади Ялвача легкое движение, качнулось пламя светильников, кто‑то вышел. Не знал тот бедняга, где можно ругаться, где нельзя.

– Как долго еще скакать нашим монгольским коням, – негромко и задумчиво говорит голос кагана. – Ты много путешествуешь, купец, и много вступаешь в беседы. Не встречал ли ты где‑нибудь людей, которые живут всегда?

– Нет, Великий каган…

– И ты не слышал о таких людях?

Кагану лучше не врать, но и правда может тоже раздражить.

– Люди говорят много, особенно в караван‑сараях перед сном, но я сам видел людей, которые жили двести лет и больше, – голос у Ялвача неуверенный, он говорит чуть громче и чувствует, что каган не поверил.

– Когда ты увидишь таких людей, попробуй доставить их сюда или туда, где я буду, я щедро награжу их… Или, по крайней мере, узнай, где они живут, – голос кагана неожиданно мягок, он как бы разрешает обернуться, и, обернувшись, Ялвач действительно видит задумчивые желтые глаза. Мгновение – глаза меняют выражение, и лучше в них не смотреть.

– У твоего толстого шаха Потрясателя Вселенной, говорят, он не умеет сотрясать даже свой гарем, и мне придется помочь ему… Так вот у него сорок туменов, он их всех кормит, у меня втрое меньше, но они кормят меня. – Каган идет светлыми замшевыми сапогами по рекам‑стеклам и камушкам – селениям и городам.

– Почему вокруг этого города два ряда камушков? – Носок кагана трогает камушки и три палочки гарнизона.

– Это Отрар, столица кипчакской земли. У него очень высокие стены и сильный гарнизон. Это красивый и богатый город.

– Ты сказал моему Джелме, что твой толстый владыка сам говорил с тобой обо мне.

Светильники за спиной Ялвача, их красные огоньки точно в зрачках кагана, точно посередине.

– Я сказал, что твое войско лишь струйка дыма по сравнению с тем, что может зажечь он. Ты не должен на меня сердиться за эти слова. Вот что он мне дал, – Ялвач роется, роется, никак не развязывается мешочек на поясе, он рвет его, достает браслет и протягивает кагану. Каган берет браслет, примеряет к своей широкой кисти и качает головой.

– Очень трудно трясти мир такой ручонкой…

– Этот браслет Великий носил ребенком. – Воистину бог лишает человека разума, когда тот не ждет, слова вырвались неожиданно, сказалась ли усталость, сил поднять глаза на кагана нет. Ялвач видит только сапог, который медленно подгребает камушки Отрара, ставя их на место.

Но каган вроде не услышал.

– Мы будем продолжать ловить рыб познания из рек торговли. – Каган говорит громко. – Тот, кто торопливо седлает коня, часто с него падает.

Ялвач опять ощущает движение сзади и чувствует, как напряглись все там, понимая, что сейчас и произойдет главное.

– Пусть караваны с нашим товаром пойдут по всем этим дорогам во все эти города, и пусть толковые сотники, черби и бахадуры пойдут как слуги и погонщики в этих караванах, и пусть товары будут дешевыми и торговля удачна для тех, кто покупает. Пусть товары и мусульман для этих караванов подберет этот купец. Ты ведь из этого города, правда?! – Всего два шага светлых замшевых сапог кагана, и он носком трогает красные камушки Ургенча. – Твои сыновья, купец, пусть отдохнут здесь без тебя. Мы дадим им по нескольку жен.

– Они еще мальчики, – голос у Ялвача дрожит, – после моего бога велик один ты, каган. Я это понял давно… – Удачно, удачно ложатся слова, Аллах милостивый, не оставь. – Мальчикам нужны мечети, чтобы молиться нашему богу…

– Бог везде, а значит, молиться ему можно тоже везде, но то, что я говорю с тобой, купец, еще не означает, что мы беседуем.

Светильники на воздухе потухли, и сразу же проступили бесчисленные и бесконечные точки костров под холмом. Напротив шатра пожилой уйгур в белой войлочной шапке, с ним два маленьких мальчика в таких же шапках и золотых сапожках. Каган остановился, и все остановились. У уйгура в руках большая книга, он спокойно открывает ее, каган тычет пальцем в строку наугад, и мальчик постарше, запинаясь, долго читает.

Из‑за юрты слева выскочил вдруг бахадур, натягивая штаны, увидел, охнул от ужаса и исчез.

Каган засмеялся, и все засмеялись, погладил мальчика по лбу и пошел.

– Купец, а купец, – мальчик помладше останавливает Ялвача за халат, – отдай мне синие камушки, они у тебя в ведре…

– Ты плохо читаешь, Бату‑хан, – говорит этому мальчику уйгур, – что было бы, если бы каган спросил именно тебя… Иди мимо, купец, иди…

– Подари мне синие камушки. – У Бату‑хана странное для монгола, нежное лицо.

Ялвач кланяется и бежит несколько шагов, чтобы догнать кагана.

Впереди музыка. У большого шатра бывшего китайского императора за цепью бахадуров на своих коротких дудках играют лимбисты, играют музыку страны, которой больше нет. На стенах шатра яркие и нестрашные драконы держат разноцветные шары. Слева привязан белый жеребец, и на толстом бамбуковом дереве белое отсыревшее знамя. И жеребец, и знамя будто рождены сумерками…

Что‑то еще можно сделать, что‑то еще можно сделать, хотя бы…

– Великий каган, мои два мальчика…

Тарагуд из охранной тысячи чуть передвигается, и Ялвач вдруг утыкается в кожаный доспех.

– Тебе не туда, купец, тебе вниз…

Ялвач идет вниз, с трудом выдергивая сапоги из мокрой глины. Костров впереди так бесконечно много, что, кажется, мир перевернулся и, может, это звезды лежат у ног.

Ялвач слышит, что кто‑то стонет и скулит рядом с ним. Он останавливается и вдруг понимает, что скулит он сам.

Солнце раскалило город. Великий Александр, Потрясатель Вселенной, владыка полумира, вышел чуть раньше. Оттого все смешалось и потеряло столетиями отработанную устроенность. Длиннющие кожаные трубы еще издавали свои хриплые звуки, а векиль уже должен был кричать: «Шах Мухаммед Непобедимый».

Поэтому, проходя к трону, Мухаммед пнул ногой кожаную трубу, загнал мундштук музыканту в глотку.

Туркан‑хатун уже сидела на краю золотого шестигранника. Она казалась особенно маленькой из‑за большого тюрбана со страусовыми перьями, Мухаммед‑шах садиться рядом не стал, его давно раздражал запах матери, какие‑то заморские притирания на старческом теле, что‑то там сочинял блудливый Гулям.

– Я послал свои мысли к Аллаху, и то, что вернулось, мой язык передает вам. – Мухаммед‑шах говорил, отмечая про себя, как покачивается в такт страусовый тюрбан. – Мой старший сын Джелал эд‑Дин, которому я передал часть моей души, пусть удалится в далекий Герат, ибо народы, живущие там, не должны быть лишены мудрого правителя и порядка. И хотя мое войско с горечью расстанется с моим сыном, он утешится тем, что под рукой Аллаха достаточно отважных ханов и эмиров, способных постоять за веру.

Перья и длинная сломанная тень по‑прежнему покачивались в такт каждому его слову.

Ханы и эмиры, полукругом расположившиеся у трона, были неподвижны, будто и не дышали. Кадыр‑хан старался не смотреть в ставшее серым лицо Джелал эд‑Дина. Тот качнулся с пятки на носок, смахнул ладонью пот с носа и, низко поклонившись Мухаммед‑шаху, пошел к дверям, легко отмахивая правой рукой, двери были закрыты, он сначала толкнул их, потом ударил ногой.

Кадыр‑хан подумал, что у него сейчас такое же серое лицо. Сквозь шум в ушах он прослушал о назначении новым наследником Озлаг‑шаха и увидел, как маленький несмышленый наследник, упершись двумя руками, пыхтя, запрыгнул на трон и уселся рядом с бабкой. Мальчику было скучно и хотелось быстрее уйти. Тюрбан качнулся, бабка что‑то сказала ему, наказать, что ли, обещала.

Потом быстро вошел человек в засаленном малиновом халате с удивительно белым, будто посыпанным рисовой мукой лицом и с пухлыми кистями рук. Рукава халата то ли коротки, то ли подтянуты.

– Богатырь мира Пехлеван, – опять опоздав, объявил векиль.

Этого «богатыря мира» Кадыр‑хан задавил бы, не поднимаясь с пяток. Другое дело четверка огромных толстых людей в засаленных фартуках, которые мелькнули там в проеме двери, мелькнули и пропали, ровно настолько мелькнули, чтобы их увидели все.

– Халиф Багдадский, – шах постепенно набирал голос и под конец перешел на крик, – отказался нести хутбу с моим именем, и, хотя пророк велел правоверным оберегать род Аббаса, халиф совершил столько преступлений, что утерял истину. Поэтому вы должны ответить, следует ли нам мириться с этим, оставляя ислам без защиты, или…

– Веди нас на Багдад, – ханы и эмиры кричали, перебивая друг друга, распаляя себя громкостью голосов, истребляя страх и сомнение.

И в этом шуме Кадыр‑хан услышал и свой крик и тоже среди других поднятых кулаков увидел и свой, мощный и тяжелый, и на секунду вспомнил растерянное лицо Унжу, но тряхнул головой, и лицо пропало.

Мухаммед‑шах был растроган, даже глаза увлажнились. И старый визирь кивал и улыбался. На секунду они встретились глазами с Кадыр‑ханом, и оба вздрогнули.

Был мороз. Яркое солнце не грело, а, казалось, только прибавляло холода. Термез – богатый город – возникал на горизонте верхушками минаретов, и утренние крики муэдзинов долетали сюда, не пугая птиц. Завидев город, ребинджанский купец, небольшой караван которого Унжу и еще трое охраняли в дороге, изменил выражение лица и при расчете недодал Унжу пятьдесят дергемов.

– Мне вдруг показалось, что ты не хочешь встретиться с городской стражей, – сказал купец, – а это значит, я ошибся, наняв тебя для охраны, и смогу понести убытки…

– Разве мы плохо охраняли тебя? – Унжу улыбнулся. – Ты был так ласков с нами еще сегодня.

За последние три месяца он привык к разговорам с купцом и знал, что при расчете его слова только радость для спорящего, поэтому, легко погладив наконечник ножа, он вдруг быстро ткнул им в бурдюк дорогого касиорового масла. Бурдюк был в инее, масло оставило на нем веселый желтый след, растекаясь по животу верблюда. Купец тонко закричал, заругался, пытаясь рукой заткнуть порез, другой протянул перепачканные в масле дергемы.

– Кошелек купца наполняет дорога. – Унжу пожевал губами и помолчал. – А на дороге я… И поэтому постарайся быть скромнее в разговорах с городской стражей. Впрочем, я знаю твой дом и твою семью и не хотел бы огорчить тебя…

На развилке дорог Унжу попрощался с тремя кипчаками, эти трое были людьми пожилыми, их ждали семьи. Унжу еще посидел на лошади боком, глядя вслед облачкам изморози, которые поднимали копыта их коней.

Дорога была пустая, лишь раз попалась арба, груженная большими медными тазами, ее охранял дехканин с самодельным копьем. Дороги неспокойны, даже тазы так не повезешь. Тазы еще долго громыхали, даже когда исчезли за холмом.

Впереди у дороги кочевые женщины готовили для путников кебабы.

Рядом десяток тощих собак да полунагой на морозе старик дервиш бормотал что‑то, не то молился, не то дремал.

Когда Унжу подъехал ближе, то увидел незрячие глаза, язвы на лбу и громко позвал:

– Старик, эй, старик, ты меня помнишь? – Он подождал, пока пустые глазницы уставятся на него, – на столбе ты был ближе к Богу, но тебе там не нравилось, и я велел снять тебя, правильно ли я поступил?..

– А‑а, – старик заулыбался, зубы были белые, здоровые на изъеденном лице, – ты, кипчак, стрела Аллаха, и много ли у тебя работы в этом мире?

– Честно сказать, не больше, чем у тебя, – Унжу вдруг оживился, – зато наверняка больше денег. Хочешь, я куплю тебе осла, и мы отправимся куда‑нибудь вместе… Возможно, на дороге ты расскажешь мне многое, я не знаю, и я решу, как с толком употребить себя самого… В конце концов, мы могли бы совершить даже хадж. – Смотреть на голые ноги на морозе было странно.

– Купи мне сначала кебаб, – важно сказал старик, – я, правда, не вижу его, но чувствую его запах и, признаться, не могу ни о чем другом думать, кроме как о кебабе, – и добавил, когда Унжу кинул монету: – Ты что, теперь возишь касиоровое масло?

– Нет, я просто испачкался. Аллах убрал меня в свой колчан и, по‑видимому, не собирается вынимать в ближайшее время.

Старик ел, давясь от жадности, но не успел Унжу об этом подумать, как старик сказал:

– Тебе неприятно, что я ем жадно, мне самому неприятно, – старик кивнул, будто Унжу говорил с ним, а не молчал. – Иногда мне кажется, что я жил всегда. Мысли можно вложить в голову, если там есть место, но твою голову распирают собственные мысли. Впрочем, если ты хочешь выслушать, что я думаю о неправедном толковании Корана, – старик поднял руки и затряс кулаками, последние слова он прокричал так громко, что собаки поднялись и отбежали в сторону.

Унжу постоял, кинул еще монету и удивился, как слепой поймал ее. Потом отошел, сел у жаровни, приказал принести арбузного вина, долго глядел в голубоватые тлеющие угли и, не отрывая от них глаз, спросил не то у девочки, принесшей вина, не то у жующего кебаб старика, не то у себя самого:

– Может быть, это место называется Хорезмийским морем и здесь переделывают лица?!

По другую сторону юрты пожилая женщина выбивала войлок, она бросила войлок и с тревогой уставилась на подбежавшую девочку, ту, что жарила кебабы и носила вино.

– Там, – крикнула девочка, – кипчакский хан упал в угли и сжег себе лицо, – девочка всхлипнула от страха, и они с женщиной побежали туда, где катался по траве Унжу, схватившись за голову.

Над степью бушевали бураны, они сбивали скотину в плотные дрожащие кучи. Лошадь тяжело шла по снегу, Унжу был в шубе, лицо замотано примороженной тряпкой. Из снежной мути впереди возникал город с высокими темно‑красными, почти бурыми стенами, куполами мечетей и темной высокой цитаделью. Звуков города не было слышно, их поглощал буран. Город возникал похожим на мираж. Небольшой караван медленно обходил всадника, верблюды шли, мученически вытянув шеи в длинных сосульках.

– Отрар – хороший город, хорошая торговля, – купец‑таджик с высокого дромадера протянул Унжу плату и улыбнулся, показывая белые крепкие зубы. – Пойдем с нами, хан, замерзнешь.

Унжу не ответил и стал разворачивать коня.

На шее последнего верблюда был подвешен колокол, но и его звук быстро исчез за ветром. Унжу вдруг пронзительно завизжал, как это делали монголы, идущие в атаку, и, перевалившись на бок, погнал коня и долго так скакал и визжал, а когда обернулся, позади города не было видно, только снег. Снег таял на веках, влага, разбрызганная ветром, мгновенно замерзала на темной тряпке ледяными полосами, если приблизиться к лицу Унжу, его глазам, было видно, что он плачет.

Прошло время.

Ожоги на лице Унжу, стянув побуревшую кожу, стали похожи на шрамы после удара камчи, и, подтянув губы кверху, шрамы эти придали лицу странное выражение, раздражающее людей.

В этот день 615 года по хиджре или 6‑го дня года барса, месяца кукушки по кипчакскому летосчислению, Унжу был тяжело пьян. Медный поднос с орехами, жарко поблескивая, напоминал огонь, воздух перед глазами плыл и качался сам, видимый в своей реальности. Глаза закрылись, а когда Унжу открыл их, перед ним стоял монгол‑сотник в халате с полосой на рукаве, потный и спокойный. Понимая, что спит, и смиряясь с этим, Унжу прикрыл веки, а когда через секунду открыл, монгола не было, остался только знакомый кисловатый запах меховых штанов. Непонятная тревога входила в грудь с каждым глотком воздуха. Унжу встал, качаясь, прошел через гурхану, яркий жаркий полдень ослепил, ударил по глазам, потом возникла пустая и пыльная площадь городка Келин‑Тюбе. Белая лошадь в тени высокого карагача, девочка, кормящая ее листьями с ладони, и странный звук неизвестно откуда. Только после из солнечного марева один за другим стали появляться верблюды, бесконечная цепь бесконечного каравана. Караван шел мимо, покачивались пыльные чалмы мусульман, а вон и караван‑баши с крашеной бородой. Тревога все не проходила, она подсказывала что‑то, заставляла вглядываться, трезветь, возвращала глазам зоркость. Унжу узнал это мгновенное чувство опасности. Но ничего опасного не было ни в этом мирном жалком городе, ни в усталом караване.

– С ума схожу, – сказал Унжу сам себе. И вдруг неожиданно сразу макушкой и животом ощутил и понял. Погонщики, слуги, стража – все эти пропыленные в тряпье люди были монголы. Но монголы не бывают слугами или погонщиками или даже стражей при мусульманских купцах, монголы бывают воинами или никем, и эти пропыленные люди были воинами. Он знал и понимал их, как никто здесь, по тому, как держали руки, по прищуру глаз, по тяжелым плечам, даже десятников он тут не видел, сотники и бахадуры, а может, даже хорчи. Это были воины, одни воины. И два немолодых китайца, такие китайцы занимались битьем стен несчастных, вставших на пути кагана городов.

На секунду Унжу встретился с пожилым монголом глазами. Лицо у монгола было рассечено от брови к губе, в его спокойных глазах мелькнула настороженность.

– Товары Желтоухого кагана, – сказал за спиной Унжу хозяин гурханы и покашлял. – Говорят, там много диковинных китайских штучек, монголы глупы – они не знают цены вещам…

Ялвач ехал на самом большом верблюде. На этом же верблюде в правой корзине ехал музыкант, он играл на флейте и потряхивал бубенцами на маленьком барабане. Музыка сокращала путь и прогоняла ненужные мысли. Тихо пела флейта, в желтом мареве проплывал город. Неожиданно Ялвач ощутил неприятное, покалывающее живот чувство и не сразу понял, что чувство возникло от взгляда кипчака с не то обожженным, не то тронутым какой‑то болезнью лицом. Странно белесые глаза кипчака были наполнены тяжелой, угрюмой ненавистью, при этом кипчак улыбался.

– Кипчаки – добродушный народ, – пошутил Ялвач, – видел, как уставился на меня вон тот?..

– Кипчаки бывают очень опасны, – легко улыбнулся музыкант, – и в гневе крушат все, как единороги, но этот кипчак просто пьян, хозяин. И поэтому ему не нравится весь мир.

– У монголов есть бог войны, – говорил между тем Унжу гурханщику, – его зовут Сульдэ, он ездит на черном неоседланном коне… – и удивился, услышав веселый смех гурханщика.

– Вот этот?

Из слепящей пыли действительно возник черный запыленный конь, хромой, толстобрюхий и низкорослый, на коне пожилой усталый уйгур, глаза странные, веселые и не знающие жалости.

– Этот уйгур – один из писцов кагана, – Унжу взял гурханщика за ухо и подтянул поближе. – У уйгуров часто такие глаза, ведь они видели, как погиб их народ, и теперь им многое смешно, – Унжу дунул в ухо гурханщику, вернулся в полутемную прохладную гурхану и долго плясал один на помосте, не снимая сапог.

В гурхану вошли двое местных купцов, торопливые и озабоченные.

– Мы поедем в Отрар с большими деньгами, только не пей по дороге, хан.

Великий Шелковый путь, тропинка, просто тропинка с пометом по краям. Только на бахчах вокруг Отрара она вливалась в широкую дорогу.

Небо за Отраром краснело. Монгольский караван был хорошо виден, надо было торопиться. Старший купец, обрызгивая руки и лицо зельем от комариных укусов, стал просить Унжу не уезжать, а прожить три дня в кочевье неподалеку, чтобы проводить их обратно.

– Подожди нас, хан, – купец хотел тряпочкой с зельем помазать лицо Унжу, но не дотянулся. – Ты никогда не въезжаешь в Отрар, и нам нет до этого дела, но мы заплатили бы тебе втрое… А бочка просяной водки сократит время разлуки, а, хан?!

Отворились тяжелые кованые ворота, из темного их проема выехали три всадника; двое сверкнули кольчугами, один – голубым халатом, всадник в халате что‑то крикнул, обращаясь к монгольскому караван‑баши, звука не было, но купец рядом с Унжу, видно, не ошибся, воспроизводя его:

– Кадыр‑хан передал, монголам можно войти.

Купцы из Келин‑Тюбе заохали, засуетились, на седло перед Унжу лег крепкий бочонок с длинной пробкой в виде головы цапли, потом их спины перекрыли город и ворота, а когда открыли, солнце, переместившись, вернуло городу цвет: красный – высоким стенам, лазоревый – куполам и минаретам и зеленый – листве. И туда, в этот город, втягивались монголы.

Водка залила жаром грудь, но не принесла покоя. Унжу глотнул еще, небо качнулось, и Унжу стал лить водку на землю.

– Хорошая здесь вырастет дыня, – сказал сам себе Унжу, не то крякнул, не то засмеялся и вдруг пустил лошадь к городу, обогнал удивленных купцов, ему крикнули, он не обернулся.

Город, и ворота, и стража с красными кипчакскими луками и железными стрелками на переносице приближались, покачиваясь. Унжу въехал в тяжелые чугунные с литыми фигурами ворота прямо вслед за уйгуром на черной хромой лошади.

– За Сульдэ еду. – Он привык говорить сам с собой, как бывает с одинокими в мире и не ищущими собеседников.

Солдаты в воротах молодые, щенятами были, когда уезжал, и, только подумав об этом, увидел здесь же сотника Огула – стража ворот; высокий и сутулый, сотник стоял чуть в стороне, внимательно исподлобья вглядываясь во втягивающийся караван. Монголы глядели вокруг, переговаривались, поцокивали языками; мусульмане в караване ехали спокойно, Унжу уставился в лицо Огула, зрачок у того не дернулся, не узнал.

Раб‑булгар, беззубый и старый и, наверное, никому не нужный, схватил Унжу за сапог.

– Если хан не знает город, я бы показал хану удивительные вещи всего за один дерхем, за один медный дерхем, хан…

Унжу не ответил, и булгар побежал рядом, понимая, что чем дальше он пробежит, тем больше появится шансов на монету. Конь под Унжу был не маленький, кипчакский, а высокий, арабский.

Улица шла в гору, и от всего этого огромный город двигался ему навстречу в подробностях своей жизни.

Унжу нюхает знакомый с детства воздух, неожиданно возникает ощущение, как будто кто‑то смотрит ему в спину, он резко оборачивается. Но позади лишь ворота. Сотник Огул стоит, полуобернувшись, что‑то говорит подростку, такому же сутулому, как и он, и с такими же длинными руками. На секунду, как видение…

Молодой еще Огул не с таким задубевшим лицом и маленький мальчик у него на плечах лупит его по шее, а Огул скачет по своему дворику, изображая лошадь…

Раб‑булгар в протертой кожаной шапочке болтлив. Где‑то плачет ребенок, в конце улицы с визгом играют дети, и Унжу подумал, что, возможно, звуки не исчезают, а повторяются, как на китайской карусели, или возвращаются вместе с зарницами, и зачем‑то сказал об этом рабу. Раб согласно закивал, понимая, что хан пьян, но само обращение к нему все‑таки сулит монету.

Через центральную площадь у дворца ехать было нельзя, стража завернула их, и Унжу поехал краем. Бронзовые львы из фонтанов глядели на Унжу своими выпуклыми глазами, слепыми под пленкой воды.

Дальше над всем городом угрюмая, из огромных камней внутренняя крепость, башня‑цитадель, но Унжу не смотрел на нее.

Из переулка выехал вдруг тысячник Хумар‑хаджиб в пестром халате, позади два нукера в кольчугах, шлемах, при полном оружии, даже красные колчаны набиты.

Унжу посмотрел в лицо Хумару, Унжу не любит чужое сожженное свое лицо, но знает, что узнать его трудно. И Хумар не узнал, хотя когда‑то…

…Девять лет назад он вместе с Кадыр‑ханом и Огулом провожал Унжу к тому каравану, который увез его на восток. Тогда Хумар и Огул, провожая его, ехали вдоль Шелкового пути, то возникая, то пропадая за холмами…

Впрочем, об этом лучше забыть.

Улица, уходящая вправо, была его улицей, и за поворотом возникал его, Унжу, дувал и его, Унжу, дом.

Дувал был полуразрушен, купол просел, жухлая трава была по пояс, а шелковицы в саду странно кривые. Прямо с седла он прыгнул через дувал, прошел по цветным изразцам дорожки и остановился в удивлении: из пролома в крыше дома стали вылетать воробьи, много воробьев, в его доме жили воробьи, вот что было смешно. Унжу сел на корточки и стал смотреть на странный свой дом‑гнездо. Казалось, что что‑то должно случиться, но ничего не происходило, и птицы постепенно возвращались на место. Когда Унжу встал и обернулся, то за калиткой увидел женщину с маленьким мальчиком, лицо у нее было прикрыто платком, женщина говорила с рабом‑булгаром, вернее, тот говорил, приплясывая от возбуждения. Она ему что‑то дала, видно, монетку. Это была Кулан, он сразу узнал, несмотря на платок на лице. Ее дом, вернее, дом ее родителей был напротив, когда‑то он хотел жениться на ней и из‑за нее построил себе вот это, с проваленной теперь крышей.

– Эй, Кулан, я сам могу ответить на все вопросы о себе и совсем бесплатно, если позволит твой муж, отец юного хана…

Мальчик почему‑то отвернулся и пошел, он был хромой и сердитый.

– Мой муж погиб в священной битве за Багдад. Ты хочешь купить этот дом, хан?

Он все вглядывался, вглядывался в нее. Из‑под платка он видел только глаза, но он знал и лицо.

– Положим, битвы за Багдад не было, – пробормотал он, – мы просто замерзали в горах, вот и все. И, возможно, я замерзал рядом с твоим мужем, так же как возможно, что я уже покупал этот дом.

В глазах у нее что‑то дернулось, и плечи дернулись, и тут он почувствовал удар в лицо.

– Мой отец погиб в священной битве за Багдад, и за это Аллах взял его к себе… – В руке мальчика еще кусок глины.

– Ты меня неверно понял, мальчик. – Унжу все смотрел на Кулан. – Просто в те дни у Аллаха была такая большая работа. – И удивился, почему Кулан вдруг повернулась и не смотрит ни в глаза, ни вообще на него, а смотрит вправо, влево.

Звон в ушах прошел, и, уже понимая, что сейчас увидит, Унжу вышел на улицу, посмотрел туда же и не позволил себе удивиться, только кивнул. И с той, и с другой стороны на улицу въезжали нукеры Кадыр‑хана, опустив вниз короткие гибкие копья, будто на зверя шли. Слева Хумар‑тысячник, справа Огул.

– Эй, не дури, – крикнул Огул, – я стою в воротах двадцать лет. Сколько бы я стоил, если бы не узнал тебя…

– Вот сколько ты стоишь сейчас, – Унжу плюнул себе под ноги, увидел на миг глаза Кулан, сел на корточки, слушая, как подходят кони и как голос мальчика, заикаясь, кричит:

– Это багдадский шпион, он сказал, что зимой битвы за Багдад не было, он залез в чужой дом…

И женский голос крикнул:

– Замолчи!

Потом он увидел, как рядом с ним на корточки сел Огул, вдруг прижал свой огромный широкий лоб к его обожженному лбу, и так они посидели несколько секунд, потом так же на корточки рядом опустился Хумар.

Они сидели так втроем на пыльной вечерней улице, прижавшись головами друг к другу, обняв друг друга мощными своими руками. Тихо фыркали кони, растерянно молчали нукеры, и так же потерянно и так же молча глядели на них Кулан и ее хромой сын. Потом Кулан громко заплакала.

– Прочти здесь, – Кадыр‑хан стоял в световом круге, таком ровном, будто очерченном землемером, такое же ровное окно наверху в куполе, – прочти здесь…

Библиотека в Гумбез‑Сарае – длинные каменные полки да потолки‑купола, окна‑дыры, и свет из этих окон уже вечерний. И тюркские летописи, обтянутые бараньей шкурой, и киссы, написанные на светлой коже куланов, и индийские книги, украшенные рыбьей чешуей, иудейские письмена и папирусы из страны Миссер, и таблички румийцев. Это отрарская библиотека, говорят, таких больше нет в мире, впрочем, кто знает…

– «Если быстро открыть дверь, потухнет огонь палочки». Здесь у тебя столько мудрости, Кадыр‑хан, что остается только удивляться, куда исчезли страны и народы, породившие этих мудрецов.

– Да, это мысли, мысли. – Кадыр‑хан уходит в темную глубину.

Слуга‑индус с позолоченными босыми ногами понес за ним светильник с медной сеточкой от копоти.

– Многим из этих мудрецов казалось… После Багдадского похода слово Великого стало меньше значить для мусульман, а этому не время. Ты ведь был в Багдадском походе?

– Да, солдатом, кипчаком из Келин‑Тюбе, по твоей милости, Кадыр‑хан…

– Как же ты спасся?

– Какая тебе разница, я кое‑чему научился у монголов.

– Да, говорят, там, на перевалах, был такой мороз, что мертвые звенели, как румийская глина. Ты там отморозил лицо?

– Да, я маленький камешек в оползне ошибок.

– Врешь. – Огонь светильника бился под решеточкой при каждом слове. – Ты сжег себе лицо уже после похода и давно водишь купцов, пьешь просяную водку и спишь где попало. А сейчас пришел за монгольским караваном, как пес за тигром. Не ходи больше в свой дом.

Прошел худой мальчик, за ним старик, старик был хранителем библиотеки и когда‑то хотел взять к себе его, Унжу. А теперь вот мальчик.

– Послушай, – Кадыр‑хан говорил негромко, но в галерее голос, изменив тембр, повторился, – в какие сосуды или сундуки следует положить это, если мы захотим поспорить не только со временем, но и с огнем?..

Смысл вопроса доходил медленно и тяжело. Но ответил Унжу, как и требовалось когда‑то, легко и беззаботно, будто не надвигалась беда.

– Я думаю, следует заказать глиняные сундуки, как следует обжечь и обложить нашим отрарским кирпичом. Китайский фарфор тоже бывает прочен, но тех людей, которые его делают, почти не осталось… Мне бы хотелось спать дома, Кадыр‑хан…

Но Кадыр‑хан не ответил…

Ночью Унжу разбудил солдат. Солдат помог одеться и ловко обвязал сапоги и ножны кусками мягкого войлока. Раб‑булгар таращил от входа испуганные глаза.

– Днем я куплю тебя, старик, – сказал Унжу, – и отпущу в знак моей новой счастливой жизни.

В зыбком лунном свете беззвучно переступали кони с обвязанными войлоком копытами, и звона оружия, бьющегося о кольчугу, тоже не было.

Подъехал Огул, Унжу похлопал его по сапогам и вздрогнул, увидев у калитки дома Кулан хромого мальчика, ее сына. Глаза у мальчика были странные, широко открытые, и Огул, перегнувшись с лошади, пощелкал пальцами перед его лицом. Мальчик заморгал, дернулся и тихо пошел к дому.

– У Кулан – неудачный мальчик, – сказал Огул, – он ходит во сне и один раз чуть не утонул.

Кони шли тихо, пугая этой неестественной тишиной движения бродячих псов. На площади они постояли. Лишенная красок угрюмая цитадель, казалось, нависала над ними.

Кадыр‑хан выехал стремительно, в простом халате, без кольчуги. Конь Хумара, выезжая из ворот, споткнулся, Хумар выругался.

– Не проснулся, как сын Кулан, – сказал Огул. – Эй, Хумар, не упади в фонтан…

И все негромко засмеялись.

Главную улицу проехали быстро. У въезда на Кан‑базар от стен отделились тени, невзрачные незнакомые люди забрали коней. Двое из них, в халатах и шлепанцах, пошли вперед. За старой мечетью все остановились.

Под темными высокими стенами сумрак казался особенно густым и пустота особенно осязаемой, но стоило глазу привыкнуть, как пустота ожила.

И Унжу увидел. Там, под стеной, кружком сидели люди и тихо покачивались, потом один встал, быстро пошел к каналу, бродячая собака, взвизгнув, метнулась у него под ногами, человек дошел до канала, хлопнул себя по заду, плюнул и вернулся.

– Монголы замеряют стены, – Огул говорил тихо, но все равно на него цыкнули.

– Ты что, онемел? – Это был голос Кадыр‑хана, обращенный к нему, Унжу.

– Им незачем мерить твои стены. – Это были его, Унжу, секунды, за каждую из этих секунд он заплатил тяжелую плату. – В караване едет кто‑нибудь из восьмого тумена, он занимается лугами, колодцами, выпасом коней и подсчетом, что в каком городе можно взять. У других сотников хороший глазомер, и они давно знают, сколько арканов надо протянуть от одной башни до другой. А китайцы знают, где лучше поставить машину, чтобы бить стены, и сколько нужно верблюжьих жил для этих машин… Ты нарастил стены, значит, и жил надо больше. И есть сотник, который рассчитал, откуда везти камни и сколько для этого нужно пригнать людей, например, из Келин‑Тюбе… Я думаю, что в городе у них уже объявились правоверные, которые получили маленькие деревянные таблички, эти таблички обещают им жизнь за некоторые услуги, Кадыр‑хан, да, за некоторые услуги…

– Тебе давно нравятся монголы. – У Кадыр‑хана болела голова, и он потер лоб. – Ты поешь мне песню, у которой нет начала и есть только конец, и этот конец в том, что наш город погиб.

– Ты усилил город, Кадыр‑хан, и выковырять нас отсюда будет трудно, хотя трудно для монголов обозначает долго – и все. И в этом «долго» наше спасение, потому что в жару в большом войске, осаждающем город, возникают болезни животов, а всадник должен сидеть в седле, а не на корточках. Это единственное, чего они боятся, Кадыр‑хан, и что может нас спасти, прости меня. Поэтому я думаю, что они спорят, как провести подкоп, выпустить из каналов воду, потому что без чистой воды…

– На корточках будем сидеть мы, – добавил Огул, и все тихо засмеялись.

Потом Кадыр‑хан кивнул, Хумар пронзительно засвистел, и из‑за противоположной стороны мечети беззвучно вылетели всадники.

То, что происходило там, у стены, не представляло ни большого труда, ни интереса. Сильно жалили комары.

Начинался рассвет, и к городу, к бахчам, к свалкам летели тысячи птиц. Навстречу им конвойная сотня гнала к городским воротам монголов из каравана, те шли босые; коротконогие их фигуры в бараньих несуразно больших штанах, голые по пояс, белотелые, напоминали рисунки полулюдей‑полуживотных. И те, кто гнал, и те, кого гнали, были воины, и те и другие знали, что сейчас произойдет, но монголы ни о чем не просили, даже между собой не переговаривались, старались идти быстро, придерживая руками штаны.

Унжу, сидя на лошади, вглядывался в бледные лица, один из монголов показался знакомым, он окликнул его, но, видимо, обознался или монгол не захотел, да и Унжу не стал настаивать.

Десятник бил Ялвача длинной нагайкой по голым ногам, заставляя бежать. Он подъехал к Кадыр‑хану и протянул на ладони тонкую золотую пайцу. Утренний свет еще не давал теней, и леопард на пайце легко бежал, завернув непомерно толстый хвост.

– Он правильно сказал, – десятник счастливо улыбнулся и кивнул на стоящего в стороне Унжу, – эта золотая штучка действительно была в лепешке. Я не хотел бить этого купца, но он сам укусил меня, у него зубы острые, как у хорька.

Острых зубов у Ялвача больше не было. Кислая кровь время от времени заполняла рот, и тогда он осторожно сплевывал ее. Страха не было, Ялвач все ждал, когда ж он придет, страх, и вдруг понял, что в такой тяжелой жизни, в которой никогда не жил так, как хотел, а лишь так, как хотели другие, он никогда по‑настоящему не боялся за себя, всегда за кого‑то. И так как тех, за кого он боялся, здесь не было, не было и страха.

От этой мысли ему стало легко, и он заплакал.

Продолжая плакать, давясь слезами, Ялвач не удивился, увидев рядом с Кадыр‑ханом голубоглазого, угрюмого от ненависти кипчака с сожженным лицом, о котором говорил в Келин‑Тюбе с мертвым теперь музыкантом.

– Ты, купец, так боялся всю жизнь, что сейчас у тебя не осталось страха, – Кадыр‑хан говорил медленно, и Ялвач удивился, что тот произносит его мысли вслух. – Но пройдет совсем немного времени, и Аллах вернет его тебе в полной мере. Мне рассказывали, что у монголов гонец выучивает донесение и поет его своему кагану как песню, чтобы не переврать слова. Ты выучишь такую песню и хотя будешь немного шепелявить, но споешь кагану, что все, что случилось здесь, – воля Великого Хорезмшаха. А как припев изобрази, как визжали его сотники и бахадуры на бахчах у моего города и какие диковинные тыквы там выросли на грядках. Им были так интересны наши стены, что пусть их мертвые головы подольше таращатся на них с этих грядок. – Голос Кадыр‑хана зазвенел, он уже не говорил, орал: – По дороге на площадях наших кипчакских городов ты тоже будешь петь это, купец.

За стеной за воротами ржали лошади, там послышались удары, в небо вдруг взвился отчаянный людской крик. Все‑таки они закричали.

Кадыр‑хан соскочил с лошади, у входа снял сапоги и, не оборачиваясь, ушел в темную гулкую мечеть.

Сны были легкие. Унжу снилось, как он умеет летать, но никому не говорит, а просто идет по улице и улыбается, а потом вдруг толкнулся ногой, улица рванулась вниз, и хромой мальчик, сын Кулан, сказал:

– Мама, хан Унжу летит…

И Кулан смеется.

– Эй, Унжу, этому ты тоже научился в дальних странствиях…

И еще чей‑то голос, грозный и сиплый:

– А вот я сейчас возьму палку и по пяткам.

Унжу проснулся на пыльном ковре в своем доме, в крыше‑куполе над ним гнилая деревянная балка тихо покачивается, нацеливаясь прямо в лоб.

– А вот по пяткам, а вот по пяткам, – орет в его саду голос.

Унжу натянул сапоги, поглядывая на балку, раздумывая над судьбой, которая уберегла его и сейчас, вышел и увидел в своем саду незнакомого купца, бегающего с палкой и пытающегося схватить за халат раба‑булгара.

Раб‑булгар, лопоухий и беззубый, хныча, вертелся среди шелковиц довольно ловко для своей старой и нескладной фигуры.

– Змея, ой, змея, – вдруг закричал булгар.

Купец отскочил в сторону и застыл с поднятой палкой, глядя в траву.

Унжу засвистел в кулак и позвал:

– Подойди, грабитель.

Купец не ожидал увидеть кого‑нибудь у пустого полуразрушенного дома.

– Ты забрался сюда, в мой дом, чтобы вместе с этим рабом вырыть клад, который я зарыл под это крыльцо. – Для убедительности Унжу потопал каблуком и хмыкнул. – Похвально, что ты устрашился Аллаха и стал просить, чтобы тебя били по пяткам, но это слишком маленькое наказание для такого проступка, согласись!

Купец, полуприсев, силился понять, что за беда на него обрушилась, а то, что беда возможна, он, как торговый человек, глядя на одежду и повадки Унжу, не сомневался.

Раб, дыша, как собака, тоже уставился на Унжу. И Унжу с радостью подумал, как весело будет рассказывать об этом Огулу или Хумару, и тут же вспомнил, что и Кулан смешлива, во всяком случае, была. Все эти мысли доставили ему такое удовольствие, что, сохраняя тяжелое, устрашающее лицо, он подавился смехом и сделал вид, что кашляет.

– Это мой раб, – забормотал купец, не сводя глаз с зеленых сафьяновых сапог Унжу, – он бездельник и попрошайка, он не принес дров и прятался здесь… Я не знал, что в этих развалинах, прости, хан, я не знаю твое имя…

Это была мучительная попытка, поиски решения, которого купец уже не видел.

– Стой на месте, купец, и не вздумай сойти с него, а ты, раб, позови стражу и не вздумай исчезнуть… – Унжу с хрустом потянулся, длинная пропотевшая рубаха на нем была из китайского шелка, и драные павлины на ней засияли вдруг пропотевшими хвостами. – Купец, по‑моему, ты связан с разбойником Дуруганом, крадущим жен из гаремов. Я так долго ловил его, но сегодня мне повезло…

Это было слишком. Купец с бабьим лицом, что‑то шепча, повалился на колени в траву.

Хлопнула калитка. Обернувшись, купец увидел тысячника Хумар‑хаджиба, который, ласково чему‑то улыбаясь, шел к дому.

– Эй, Унжу, у тебя гости?

– Нет, ко мне забрался разбойник Дуруган, – Унжу повысил купца до самого разбойника, – и я поймал его… Согласись, Хумар, день начался не так плохо.

Купец стал совсем невидим в высокой траве.

Потом из травы поднялась дрожащая рука с кошельком.

– Уверяю тебя, ты ошибся, хан, – заныл голос, – я просто пришел сделать тебе подарок по случаю возвращения, но ты не понял меня, я совсем не знаю разбойника Дуругана.

– Может быть, ты действительно ошибся, – лениво сказал Хумар, почесал шею под кольчугой и забрал кошелек.

– Раба тоже оставь, – милостиво согласился Унжу, – по вечерам мы будем много говорить с ним о тебе и о твоих ошибках.

Сначала они хохотали, потом свистнули счастливого раба и послали его за едой, ожидая, посидели тихо, глядя в развалившийся потолок, в качающуюся балку, вспоминая вчерашнее.

– Теперь Великий поднимает всю армию на кагана, эта армия заполнит степь, прижмет Желтоухого к китайским городам; и все… – Хумар, развернув огромную свою ладонь, медленно сжимая ее в кулак, зверски ощерившись, изобразил грядущую судьбу монгольского войска.

– Посиди здесь, – сказал ему Унжу.

– Сколько?

– Немного меньше, чем я был у кагана, которого ты сейчас раздавил.

Унжу быстро пересек улицу и прошел по короткой знакомой дорожке мимо черного камня, который когда‑то привез отец Кулан с гор. Камень всегда был теплый, даже зимой на нем таял снег. Унжу потрогал знакомую теплую поверхность. Подошел хромой мальчик, которого он только что видел во сне, сын Кулан, мальчик держался рукой за затылок.

– Меня укусила оса, – сказал он.

Унжу повернул его спиной и зубами осторожно вытащил жало из бритого затылка.

– Этот камень всегда теплый, – сказал мальчик, – даже в мороз. Его привез мой дед из черных скал. Один мулла говорит, что этот камень – зло, другой – добро, они даже подрались здесь, – мальчик засмеялся, показывая маленькие нечистые зубы.

– Позови маму…

Кулан уже шла навстречу, лицо закрыто платком, только темные глаза так широко открыты, будто она плохо видит.

За ее спиной в дверях дома – челядь, старуха, два раба и маленький евнух, прижившийся, видно, с времен, когда Кулан была замужем. Кулан подошла и тоже положила руку на камень.

– Этой зимой он был особенно горячий, это к твоему возвращению, Унжу, а той зимой… Я уже думала, что он наконец остынет…

– И той зимой умер твой муж?

– Что с твоим лицом, Унжу?

– Аллах швырнул в него горстку пепла. – Унжу улыбнулся. – Я хочу взять тебя в жены, Кулан, и усыновить этого мальчика. Он не будет воином, но я попробую помочь ему стать мудрым. Мудрый больше, чем воин. И потом я увезу вас.

– Зачем? – Глаза у Кулан еще больше расширились, она не удивилась первому предложению и удивилась второму.

– Далеко отсюда есть море, там больше воды, чем песка в степи, среди воды встают горы удивительной красоты…

– Зачем нам столько воды, зачем нам горы, зачем нам ехать, если ты хочешь жениться на мне… Не тронь камень…

Унжу так захотелось увидеть ее лицо без платка, что он вдруг перестал слышать. А она говорила, потом закричала, схватила мальчика и быстро пошла к дому. Только тогда вернулись звуки с шорохом жаркой листвы деревьев и журчанием фонтанчика и далеким криком верблюдицы. Все было так спокойно – и серо‑синее небо, и земля.

– Вернись, Кулан, – крикнул он, – я пошутил насчет моря и гор.

И опять посмотрел в сине‑серое спокойное небо, на стайку мелких птиц, зависнувших над ними, не знающих, где приземлиться.

– Это наши степные воробьи, я часто вспоминал их в далеких землях.

Отрар умирал долго, и его смерть была видна за два форсанга столбами черного жирного дыма и таких же жирных крупных искр. Казалось, умирающий город время от времени выдыхал их. И звук был такой, будто город сипит своими пробитыми легкими.

С носа старика, хранителя отрарской библиотеки, упала крупная капля пота, он сидел, подобрав ноги, в низком круглом углублении, вырубленном в песчанике. Светильников было много, и все они горели, ибо жалеть дорогой лошадиный жир не имело смысла, его оставалось больше, чем жизни, и даже больше, чем воздуха, в сухой духоте пламя светильника пожирало последний кислород, отбрасывало странные круглые тени на сундуки, выложенные красным отрарским кирпичом, и на высокие фарфоровые сосуды, залитые сверху тоже красной глиной. Румийские таблицы, неподвластные времени, лежали в нишах, и у ног старика они лежали тоже, крупная капля пота упала на одну из них. Здесь, в горе, была спрятана отрарская библиотека.

– Пиши, – крикнул старик, – а потом встань и уйди, сделав все что надо, иначе я прокляну тебя, и все мертвые кипчаки встанут из могил и проклянут тебя тоже. И закончи так… Пиши четко и толсто, потому что то, что ты напишешь, будет спорить со временем, если Аллах этого захочет.

Худой мальчик сидел в нише напротив и старательно рисовал кистью слова на пергаменте, то, что диктовал старик: «И случилось это в месяц весенней случки в год дракона, и мы, кипчаки, прощаемся, все кончилось у моего народа и начнется не скоро», – старик подождал, открыв рот, пока мальчик напишет.

– А теперь делай, делай, – старик крикнул.

Мальчик поставил точку, скатал пергамент, бросил в высокий фарфоровый сосуд и, аккуратно и толсто замазав горловину глиной, встал на колени, поклонился старику, потом взял длиннющий железный лом и, продолжая смотреть на старика, стал задом вползать в низкий круглый ход. Воздуха не хватало и старому, и молодому, и рты у обоих были открыты, как у рыб на фарфоровых сосудах. Потом мальчик подсунул лом под окоренное бревно‑опору, навалился, опора отошла, доски хрустнули, закрывая обваливающимся песчаником нишу и неподвижного старика, который, не мигая, смотрел мальчику в глаза.

Мальчик все полз и полз, пятился задом, обдирая затылок и шею, охал, наваливаясь на лом, опоры послушно падали за ним, заваливая проход песчаником, рябым и желтым. И так же задом, страшный, непохожий на человека, мальчик вылез на поверхность земли, последний обломок бревна, вставший на торец, торчал рядом, похожий на гигантскую выбеленную временем кость.

Сначала он увидел звезды и задохнулся от воздуха и оттого, что еще существуют звезды, потом увидел пожар вдали и не услышал всадника.

Монгол был тоже усталый, пропыленный, в тулупе, схваченном лакированной кожаной кольчугой. Набухшие от бессонных ночей глаза монгола слабо воспринимали мир – здесь, вдали от побоища, проезжая, он просто ткнул мальчика копьем в спину и больше не оборачивался. Мальчик ахнул и свернулся вокруг белого обломка бревна.

Там, под этим бревном, еще оползала, заполняя пустоты, земля, песок и камни. Потом медленно поехала монгольская сотня, замыкающий монгол остановился и, удивленно глядя на уши собственного коня, послушал странный гул из‑под земли.

Полтора года назад день в день лицо у Великого Хорезм‑шаха Мухаммеда было таким, будто он только что увидел смерть своих городов.

Трон с сиденьем, похожим на огромный золотой поднос, был тесен для него и матери, сидеть, прижавшись к ней, было жарко, сильно болела голова, и векиль прикладывал ему к затылку льдинки, напиленные в форме цветов.

Наибы, эмиры, ханы – все располагались вокруг трона на коленях большим полукольцом, держава была огромна.

И мысль о том, что земли, которые не объехать, не обойти, в его, Хорезмшаха, руке, успокаивала.

– Кадыр‑хана возьми себе, – велел Мухаммед и увидел, как от резной стены отделился Пехлеван, палач и «Богатырь мира».

Кадыр‑хан стоял, короткая кипчакская сабля в одной руке, кинжал острием на шее на набухшей жиле.

Пехлеван, мимолетно улыбаясь, неторопливо шел к нему, вытянув вперед белые пухлые руки. Сколько людей, не споря, отдавали свою голову этим рукам, не таким уж сильным, как поговаривали.

Кадыр‑хан облизнулся и, почти не шевеля губами, вдруг сказал то, что никогда не слышали эти стены:

– Я сейчас отрублю тебе пальцы, Пехлеван, и в гареме тебе будет помогать евнух.

Пехлеван не понял, коротко обернулся к Великому и сделал еще шаг.

Конец сабли Кадыр‑хана дернулся, белый пухлый палец плюхнулся на ковер и подскочил, будто живой. Никто даже не вздохнул, струя крови из руки Пехлевана была неправдоподобно упругой.

– Великий, – закричал Кадыр‑хан, – ты казнил всех, кто отговаривал тебя идти на священный Багдад, и Аллах дохнул на твое войско морозом. Я истребил не караван, я истребил мунхов, шпионов. Рисунки твоих крепостей, выпасы для коней от реки Онон до Отрара и до великой Бухары, до Ургенча, все найдено в караване. Я стану мучеником Аллаха, ты не скроешь мою смерть от кипчаков и не удержишь их при себе. Так же, как сам великий Искандер не смог бы удержать руками туман. – Воздуха не хватило, и Кадыр‑хан стал кашлять и продолжал кричать сквозь кашель: – Нас втрое больше, чем монголов. Возьми меч, верни из ссылки и из Башни Скорби полководцев, прижми Желтоухого к китайским городам, вспори ему подбрюшье в его собственных землях, и твои города узнают покой, а ты славу. Ты искал у одного купца шпионский ясак кагана. – И, на секунду оторвав кинжал от жилы на шее, Кадыр‑хан выбросил из рукава пайцу Ялвача.

Золотая пластинка упала на ковер возле отрубленного пальца. Бегущий леопард будто принюхивался к кровоточащему обрубку.

Затылок у Хорезмшаха схватило так, что, кроме красных искр перед глазами, он ничего не видел, и от этого пришла мысль, что Аллах действительно показывает ему его горящие города. Неожиданно он ощутил сильную маленькую руку матери на своем локте и услышал спокойный голос:

– Кадыр‑хан царского рода и не мог быть отдан Пехлевану. Это была лишь шутка Великого. Твой гарем, Пехлеван, будет по‑прежнему доволен тобой, ведь так близко подходя к моему племяннику, ты рисковал большим. – И в застывшей тишине раздался ее пронзительный ахающий смех.

Под этот смех Пехлеван тронул носком сапога свой одинокий палец. Ему было больно. Но, до тонкости зная свою профессию и ее возможности, он боялся, как никто здесь.

Красные искры перед глазами Великого погасли, медленно возник зал и все, что в нем. И, ощущая покой, будто мальчиком, когда однажды купался в реке и отдался течению, Великий Хорезмшах велел ввести послов кагана.

– Послы кагана, повелителя монголов, – объявил векиль.

Ибн‑Кефредеж‑Богра и еще двое были мусульмане.

Шах Мухаммед тяжело, не мигая, глядел на них.

Послы скрестили руки, это обозначало, что они хотят говорить, но шах только покачал головой.

– Послы хотят говорить, – сказал векиль.

Шах опять покачал головой. Решение было принято, и нужные слова пришли.

– Они правоверные и служат врагам веры, – и шах ткнул двумя пальцами куда‑то в направлении переносицы Ибн‑Кефредеж‑Богры. – Пехлеван, они твои. У других двух вместо бород пусть будет выжжено изображение этого зверя, – шах напрягся и плюнул в сторону лежащей пайцы. Плевок был удачен и долетел.

– Послов не убивают, ты получишь войну, – крикнул Ибн‑Кефредеж‑Богра, в черных навыкате его глазах метался ужас.

Но счастливый прощением Пехлеван уже шел к нему. Обмотанная шелковой тряпкой рука болела, вернуть свою улыбку было трудно, но он вернул ее.

На заросшем колючками пустыре у дворца Кадыр‑хан и старший отрарский векиль с бородавкой на носу сошли с коней и пошли пешком. От ворот просипела труба, предупреждая домочадцев о возвращении.

Кадыр‑хан задержался, подождал и положил руку на плечо Унжу, хотел сказать что‑то, но не сказал. Унжу понял, пнул ногой сухой куст.

– Вот здесь я лежал целый день, смотрел на твой дворец, Кадыр‑хан, и не любил тебя, – и, выдернув саблю, Унжу рубанул по кусту.

– Ладно, я велю поставить тебе здесь дом. Когда мы стариками будем приезжать сюда, ты будешь вспоминать и рассказывать, твои рассказы надоедят всем, но дети и жены должны будут из вежливости слушать тебя.

Ночью Унжу проснулся и подошел к окну. Ночной туман уходил, но еще закрывал реку, заполняя ямы и неровности, сглаживая землю. Увязая в тумане по колено, вокруг дворца стояли войска, конные и пешие, и луки со стрелами на тетивах лежали поперек голов коней.

Кадыр‑хан был уже внизу и, наклонив голову, неподвижный, сцепив на животе толстые пальцы, слушал великого визиря.

– Повелитель полумира, Потрясатель Вселенной, Великий шах Мухаммед шлет тебе, Кадыр‑хан, слова милости и привета и саблю, которой только что была снесена голова посла кагана. Ты будешь носить эту саблю вместо своей, всегда зная, когда можно обнажить ее и в присутствии кого. Об этом ты будешь размышлять по пути в Отрар. А чтобы ты не скучал в дороге, Великий назначает соправителем Отрара Карашу из Ургенча, чья мудрость оттенит твою храбрость, – голос великого визиря окреп, он читал нарочно громко, дабы слушали все.

Неторопливо в голубом праздничном халате подошел Караша из Ургенча. Тяжелое лицо с перебитым палицей носом было лицом воина, легкая походка – царедворца, и это не сочеталось.

– Великий не торопит тебя, – сказал визирь, – но знает, что это утро застанет тебя в пути…

Тут же застрекотали седельные барабаны. Визирь и Кадыр‑хан встали на колени, негромко уже в ухо что‑то раздраженно говорили друг другу. Потом визирь так же раздраженно пожал плечами, двумя руками протянул Кадыр‑хану саблю и ушел.

Туман отступил, будто отогнанный этими рокочущими барабанами.

Когда Унжу, босой, спустился вниз, отрарский векиль и домочадцы были уже там. Лицо у Кадыр‑хана стекло вниз.

– Великий не спал всю ночь, – сказал он, – Аллах подсказал ему решение. Войска не выйдут из городов, и наши полководцы останутся там, где они находятся. Наши земли обильны, сказал Великий, и каган будет слабеть при осаде каждого города. Смерч, теряя песок, не бывает долгим. Если сначала он способен поднять коня, то потом не способен повредить суслику. – Кадыр‑хан потер лоб. – Может, Аллах спасет мой народ, а может, опустит в глубину большого колодца, который зовется «время».

Старший, маленький и суетливый векиль, приподнявшись на цыпочках, приказал собираться и поклялся, что на этот раз палками поторопит нерадивых.

Унжу уходил последним. Неожиданно рокот барабанов там, на пустыре, затих, и Унжу в наступившей тишине услышал шепот Кадыр‑хана:

– Однажды на одной большой охоте я метнул копье в один большой шатер. Но Аллах не обратил на меня тогда внимание, – Кадыр‑хан вдруг засмеялся.

Ноги Унжу приросли к полу, он слизнул внезапный пот с верхней губы и не двинулся, пока Кадыр‑хан с векилем не ушли. Было тоскливо и страшно.

Караша все стоял во дворе, в дом его не позвали.

На рассвете десятник, начальник сторожевого поста кипчаков у перевала Суюндык, выйдя утром из юрты, обомлел. В небе кружили орлы‑стервятники, десятник никогда не видел столько орлов сразу. Делая круги на неподвижных крыльях, птицы так четко перемещались в одном направлении, что зловещий смысл этого движения стал ясен десятнику в первую минуту. Пост поднялся, засыпал колодец, поджег юрту и медвежьи шкуры, которые были растянуты для просушки, и наметом пошел через степь. По временам от десятки отделялись конные предупреждать кочевья.

Для этих часов, дней и недель было сделано так много, что Кадыр‑хану вдруг показалось, что вся его жизнь наконец обрела смысл. И он сказал об этом.

Мост был опущен. Кипчакские войска вытягивались из Отрара для того, чтобы встретить монголов в пути. Чугунные в шипах ворота открыты настежь. Легкая конница уже вышла. Теперь потянулась тяжелая кавалерия на верблюдах, шеи и подбрюшья верблюдов в железе, и, глядя на все это тяжкое и неторопливое движение, новый соправитель Отрара Караджи‑хан, или Караша, обнял Кадыр‑хана, потом, чтобы не разрыдаться, замахал рукой в железной рукавице и попросил взять его с собой простым тысячником.

– Я отправил Великому донесение, что ты заносчив, прости меня… – Караша улыбнулся, его заплаканное лицо с перебитым палицей носом вдруг помягчало и стало детским. – Я не пошлю гонца Великому, что ты не внял его запрету и вывел войска в степь. Ты великий воин.

Кадыр‑хан торопливо закивал, но пошла следующая тысяча, и грохот копыт не дал ему ответить.

Унжу слез с верблюда и побежал, касаясь лицом колена Кадыр‑хана.

– Я заклинаю тебя матерью, которую никогда не видел, – кричал Унжу, пытаясь пробиться сквозь тяжкий гул идущего войска, – монголы всегда повторяют одно и то же. Города и страны, где я побывал с ними, не так уж велики, и Аллах дал людям язык, чтобы рассказывать, и все равно. Я привязал к рукоятке твоей сабли ленту с гирькой. Гирька будет мешать тебе, задевая лицо, и, когда ты решишь сорвать ее, поверни войска назад.

У холма отряды разделились. Конница Кадыр‑хана двинулась прямо, тяжелая кавалерия на верблюдах свернула, обтекая холм.

Был конец лета, бахчи вокруг Отрара были в дынях, и всадники ели их на ходу, вытирая бороды.

Хумар на своем верблюде ударил дыню об железный наколенник и протянул Унжу кусок.

– У меркитского хана Арслана будет такое лицо, если он увидит меня. – Унжу хохотал, и они пустили верблюдов спокойным затяжным ходом.

Гонец, понимая, что чем веселей он рассказывает, тем больше, может быть, сокращает минуты собственной жизни, не смея поднять глаза, глядя только на лужу и на сапоги кагана возле этой лужи, не то кричал, не то пел.

– Каган, с нами сделали то, что мы сами делали много раз.

Сапог кагана у лужи шевельнулся. Гонец боялся перерыва. И говорить он тоже боялся и потому кричал.

– Ночью эти люди, их зовут кипчаки, подобрались к засаде, в которой стоял твой пятый тумен. И когда меркитские тумены, заманивая кипчаков, стали убегать, твой пятый тумен был уже изрублен, и вместо него меркитов ждали верблюды, закованные в железо. Таких верблюдов не взять легкому коню.

Сапог вдруг топнул по луже, струя воды ударила гонца в лицо, и он замолчал.

– Весь тумен не бывает изрублен, – сказал над ним голос кагана. – Когда те, кто ушел из боя, придут сюда, пусть все они познают вечность, не въезжая в лагерь. Этот, – нога ткнула гонца в нос, – не испугался быть весел, пусть он так же весело прокричит мне, что этого народа больше нет на земле. И пусть комар, летящий с их реки в их город, пролетит только над моими воинами.

Когда гонец поднял мокрое лицо, то увидел широкую сутулую спину, уходящую в темный провал шатра, увидел, как поднялась рука, и услышал, как каган прокричал, как проухал монгольский боевой клич: кху! кху! кху!

Гонец встал и пошел от шатра кагана, сжимая крепкие заскорузлые пальцы в кулаки. Неожиданно он остановился и, взявшись за штаны, понял, что с ним случилось то, что бывает лишь с малыми детьми. И тут же перехватил смеющийся взгляд молодого воина, почти мальчика, с розовым, будто в молоке вымоченным лицом. Мальчик был сыном нойона, ему был смешон обделавшийся, съежившийся пожилой солдат. В столь раннее утро мальчик в только что подогнанных новых блестящих доспехах стоял над большой лужей, пытаясь найти в ней свое отражение.

Запомним его лицо.

Монголы подходили к городу не спеша, без стремительных атак и воинственных кличей, будто армия эта не таила смертельную угрозу, будто просто двигались бесчисленные кочевья. За грохотом повозок, ревом верблюдов и ржанием коней можно было услышать громкие женские и детские голоса. Монголы сразу же принялись выкладывать длинные земляные печи и обирать дыни с бахчей. Садов они не рубили. Только опытный глаз во всем этом многообразии и суете мог определить строгую и грозную дислокацию частей.

Горожане и солдаты на стенах с удивлением глядели на коротконогие, в толстых кожаных штанах, фигурки монголов, галдели, кричали, поворачивались, показывали монголам зады. Или, спуская пояса халатов, приглашали их забраться на стены. Монголы цокали языками, беззлобно улыбались.

Неожиданно из‑за повозок вылетел десяток всадников на низких брюхатых конях, с визгом пролетел ко рву и пустил стрелы, но те не долетели, красные же кипчакские луки били дальше. Один из монголов сразу же получил в ляжку стрелу.

Когда Унжу с Хумаром спустились со стены и сели на коней, город уже знал об этой стреле, и навстречу им целая толпа тащила длинный шест и корзину с урюком, чтобы поднять меткому лучнику.

Улицы города были забиты людьми и скотом, Отрар успел многих принять под защиту своих мощных стен. Было жарко, и хотелось пить. Чем ближе Унжу с Хумаром подъезжали к центральным воротам, тем больше разноголосица сливалась не то в крик, не то в рев: «Поединок. Поединок».

У ворот за тройной цепью солдат стоял готовый выехать молодой сотник в черной иранской кольчуге и при полном оружии. Грудь и голова коня были тоже закрыты железом. Огул принес ведро воды и вылил на сотника. Унжу увидел счастливое лицо сотника и странный тяжелый подбородок на этом молодом лице. И плечи у сотника были тяжелые, огромные, и руки на головке деревянного кипчакского седла лежали покойно.

Ударил барабан, солдаты камчами расчистили проход в толпе, проехал Кадыр‑хан, Караша, свита и, уже понимая, что сейчас будет и что вряд ли он сможет что‑нибудь изменить, Унжу подъехал к Кадыр‑хану, соскочил с коня и взял его за сапог. Конь Кадыр‑хана дернулся и чуть не укусил Унжу за лицо.

– Не выпускай сотника, Кадыр‑хан…

Солдаты у ворот тянули цепь, поднимали железную перекладину. Кадыр‑хан наклонился, взял Унжу за ухо и повернул.

– Ты слишком часто хватаешь меня за сапог, я прикажу подарить тебе мой сапог, чтобы ты ходил с ним всегда. – Лицо Кадыр‑хана вдруг напомнило лицо царственной тетки, которой не нужен никто.

Пальцы Унжу свело от внезапной обиды, он хотел опустить сапог Кадыр‑хана, но не мог. И сам вдруг услышал свои слова, будто не он говорит:

– В час своего успеха ты опять забыл про меня, повелитель, это у вас в роду, но ты думаешь, что ты для кагана воин, а ты для него дичь.

Сапог Кадыр‑хана дернулся, конь крупом ударил, Унжу упал, но сразу же, взвизгнув от бешенства, сел на корточки. Он увидел уже приоткрытую на ширину одного всадника створку ворот, кусок неба за ней и тяжелую спину молодого сотника, въезжающего в это небо.

Унжу стоял и смотрел, сжимая плечо незнакомого солдата, как опустился мост, как сотник проехал по мосту, помахав на прощанье рукой в железной рукавице, как восторженно гудела на стенах толпа, где многие сейчас завидовали этому сотнику, как появился небольшой, юркий, в кожаных из ремней латах веселый монгол и стал отманивать сотника подальше и, как только отманил, сделал круг, взвизгнул и исчез за повозками. Тут же из‑за повозок вылетело полтора десятка стрел, монголы били сотника в незащищенные щеки, и у того на лице вдруг мгновенно выросли страшные черные усы. Монгол вылетел уже с арканом, сдернул тело сотника, из которого уходила жизнь, и потянул по земле к телегам. Сотник скреб, скреб ногой, лошадь потрусила за хозяином, и через секунду все исчезли в проходе между телегами, будто и не было, будто все привиделось. На стенах молчали. Монголы хохотали и, приседая, хлопали себя по ляжкам.

Потом из‑за телег появился монгол, тот, что заманивал, на голове у него был уже иранский шлем сотника, на руках его железные рукавицы. Он вертелся на коне волчком, смеялся и показывал эти рукавицы, приглашая следующего.

Проезжая через город, Унжу увидел купца, выложившего на рынке большие вязанки дров и стопки кизяка. Он долго бил купца плетью, загоняя его под телеги, кричал:

– Тебе пожар нужен, пес, пес?! – Приказал стражникам отбирать и зарывать в землю все, что способно гореть. И помнить этот приказ Кадыр‑хана всегда.

Сидя в седле, глядя на беззвучно рыдающего под телегой купца, на стражников и рабов, торопливо роющих яму, Унжу тронул лошадь шагом и увидел, что люди на базаре смотрят на него с ужасом.

Сады в Отраре были почти вырублены, кое‑где еще стучали топоры. У домов стояли большие чаны с водой и лежали кучи измельченной глины, кошмы. Его сад был тоже вырублен. Он проехал мимо, у дома Кулан, где он теперь жил, раб‑булгар взял коня, хромой сын Кулан в его старом шлеме и с его старой обломанной саблей ковылял к нему через вырубленный сад, Унжу пытался смягчить собственное лицо, чувствуя, что ничего не может сделать с тяжелым, брезгливым его выражением. Оно не относилось к мальчику, которого он жалел, оно относилось к жизни, но он боялся, что мальчик примет это на себя, и ощущал собственную гримасу на лице как маску.

– Наш камень остыл, – вдруг выкрикнул мальчик, – когда вырубили деревья, он сразу остыл. А мама весь день плачет.

Они пошли щупать черный камень, камень был не холодный и не горячий, просто камень на солнце, и все.

– Он был таким же, сказала мама, когда Аллах взял моего отца к себе, – весело сказал мальчик, – но ведь женщины глупы. И их речь подобна чириканью воробьев, да?!

Навстречу шла Кулан, она была беременна. Раб‑булгар, причмокивая и подмигивая, увел мальчика напротив в дом Унжу, за ними торопливо ушли домочадцы, последним евнух с колокольчиком. Сейчас Унжу мог приезжать домой только днем, и все понимали это.

В доме было темно, окно в куполе, как синий распахнутый глаз. Унжу выпил легкого арбузного вина, есть не стал и лег, положив голову на живот Кулан, стараясь услышать движение новой жизни. Кулан ела виноград.

– Муж говорил, что из нашего города вырыт подземный ход, – вдруг сказала она, – он уходит далеко, ты не знаешь?.. Ночью камень был совсем ледяным… Когда погиб муж и когда был большой мор, ночами он все‑таки был теплый. Если ты будешь осторожен, ты не повредишь маленькому…

Она стала гладить Унжу по лицу, шее, груди, но желание не приходило, и он закрыл глаза.

Ночью степь вокруг города, насколько хватало глаз, горела мелкими яркими кострами, желтые точки этих костров уходили за горизонт, но казалось, что и там, где глаз уже их не видит, они тоже горят жадным немигающим светом. В монгольском же лагере что‑то передвигалось, скрипело, будто подходили новые кочевья.

Город, утомленный тревогами, быстро и сразу уснул, словно приняв эту новую жизнь. На стенах оставалась только часть гарнизона, кто жевал, кто посвистывал, стараясь глядеть не на костры, а на небо. Оно было покойное, в звездах. Раб‑булгар принес на стену мясо и смотрел туда на огни, что‑то шептал.

– О чем ты? – спросил Унжу.

Раб забормотал. И вдруг, сев на корточки и перестав дергать лицо, спросил:

– Почему все так устроено, хан Унжу? Всю жизнь я мечтал перестать быть рабом. Ты освободил меня, и я стал таким, как все, но не чтобы уйти на родину, а чтоб меня зарезал монгол. Все мои желания рано или поздно исполнялись, и все наоборот.

– Зато твоим близким, если они у тебя остались, не грозит беда, твоя страна очень далеко…

– Почему ты думаешь, что это хорошо?! Что мне не о ком думать и ни за кого не хочется умереть… И за тебя, хан, прости меня, – булгар совершенно неожиданно для Унжу заплакал. – Я всегда ненавидел ваши сады, которые летом делаются желтыми, но сейчас они вырублены, и твой город стал похож на старух с высохшими грудями, за все это я должен умереть – это не моя жизнь, это чья‑то другая, чья‑то другая…

Унжу смотрел на раба с интересом.

– У тебя задранные плечи, ты не носил колодок, значит, ты не убегал?!

Раб кивнул, продолжая плакать.

– Я видел твою спину, она гладкая, значит, ты никогда не поднимал руку на господина. Тебе не понять меня, старик.

Унжу взял стрелу, наконечник стрелы был обмотан паклей в сале, поджег его и, оттянув тетиву так, что хрустнуло плечо, пустил горящую стрелу в темноту. Послушал и не удивился, когда оттуда, из темноты, раздался крик.

Штурм случился на пятый день, именно случился, ибо первые минуты на стенах даже не поняли, что началось. Солнце, подсев к горизонту, слепило глаза тем, кто был на западной стене, там не ждали, было жарко и дремотно, жалили слепни. В сторону монголов почти не смотрели, как вдруг там из‑за телег, из‑за скопища повозок, юрт, из печного, пронизанного ярким светом дыма выплеснулась толпа сарбазов, воинов из покоренных монголами народов. Они выходили, заполняя пространство, никто даже не подозревал, что они там были и их было столько.

Неожиданно вся эта толпа потрусила ко рву, именно потрусила, не пошла, не побежала, и только тогда на стенах заметили, что у многих из них железные крючья на длинных веревках, и покуда толпа эта, скользя на задах по мокрой глине, спускалась в ров, из‑за телег стала возникать вторая, и в этом втором возникновении вдруг сразу и резко обозначилась та зловещая геометрия, которая превратила кажущийся беспорядок в точную воинскую организацию. Повозки образовали четкие проходы, из которых возникли лестницы и шесты с перекладинами.

И эти лестницы и шесты были выше стен Отрара, они плыли, покачиваясь, над молчаливой, темной в ярком свете толпой.

Затем из зыбкого солнечного марева возникли монгольские всадники.

Все закричали одновременно, черные монгольские, красные кипчакские стрелы будто зависли в воздухе, плотной густой пеленой скрыли атакующих.

Ржание коней и крик тысяч людей рванулся к небу, и там, отрываясь от земли, завертелся и затих, и с большой высоты, откуда и город‑то, теряясь в степи, выступал всего лишь бурым пятном, окруженным пылью, не было видно ничего.

Если же опять приблизиться к земле, крик вновь приобретал интонации, дробился, и общая масса превращалась в людей, убивающих друг друга, в лица бойцов, наносящих и принимающих удары, отнимающих жизнь и теряющих ее.

Внизу монголы пиками гонят сарбазов на стену, заставляют поднимать сброшенные лестницы, опять подтаскивать. И сотники из своих, из сарбазов, тоже гонят. Не послушаешься – умрешь здесь, послушаешься – там, на стене. Но до этого хоть минуты жизни. Взяли лестницы, опять полезли.

У кипчаков свой город, своя страна. Здесь, наверху, на стенах, лишних сгоняют, чтобы не мешали, здесь тяжелые топоры, бревна на цепях, чтобы сталкивать лестницы, и кипяток, и мешки с песком.

Кровь из разбитой головы густа и черна, и по отрарской стене, залитой этой кровью, идти трудно, ноги скользят, и можно упасть. Рабы засыпают скользкие кровяные лужи песком, чтобы следующий кипчак не поскользнулся в своей же кипчакской крови.

Ушло яркое солнце с западной стены, опустилось с зубцов, ударили у монголов барабаны. Ах – и нет монголов. Взвыли, гикнули и ушли, спустились на конях по скользкой глине, плюхнулись в воду, поднялись – и нету.

Сарбазы отходили долго, отстреливаясь, покрывая землю ранеными и умирающими.

Через полчаса в монгольском лагере все как было: печки дымят, монголы ходят, посмеиваются, руками машут, приглашают в гости.

Этой же ночью монголы ушли. Всю эту ночь, как прежде, до горизонта горели костры, как волчьи глаза, что‑то ухало, двигалось.

Рассвет притушил костры, и то, что монголов нет и что костры просто гаснут, заметили не сразу. Сначала закричал один дозорный, потом другой, загрохотали, заахали по всем стенам барабаны. Утренний туман уполз, обнажая загаженную, изуродованную, в глубоких колеях пустынную степь с сухими желто‑серыми кругами до горизонта, были юрты – и нет.

Город просыпался, еще не веря в счастье, так внезапно посланное Аллахом, и устремился к городским воротам. Двигаясь в том же направлении вместе с ликующей толпой, Унжу и Хумар чувствовали такую усталость, что не могли говорить, и такую тревогу, что боялись смотреть вперед, в конец улицы. И одновременно успокоились, увидев закрытые ворота, пешую конвойную тысячу Огула с лучниками.

Толпа застыла, напирая, и в наступившей вдруг тишине отрарцы раздраженно прослушали речь глашатая о том, что каждый, способный поднять кетмень, должен вернуться домой и прийти с этим кетменем к ближайшим от своего дома городским воротам, иначе будет бит. И тот, кто снимет глину с запасов дров для своего очага, будет бит тоже. И будет бит любой купец, открывший лавку без разрешения.

И Унжу, и Хумар кивали каждой фразе.

Сапог Хумара был прорублен на сгибе, медные пластины торчали во все стороны.

– Я и не заметил, – сказал Хумар Унжу, он вдруг выпятил подбородок и поинтересовался: – Ты много читал про древних героев, Унжу‑хан, как ты думаешь, они были намного сильнее меня?.. – и попытался поднять Унжу за пояс с седла.

Раздался далекий приближающийся свист, свистели сотники от одного к другому, десятники хрипло командовали, приказывая приветственно поднять копья, от дворца проехали Кадыр‑хан и Караша, задержались у ворот, вперед выехала охрана, и в наступившей вдруг тишине ворота медленно оттянулись на пять локтей.

Унжу все смотрел, не отвечая Хумару, спина у Кадыр‑хана была сутулая, Унжу показалось, что в седле сидит старик.

К вечеру, когда тень от кетменя два раза превышала его длину, когда стаи птиц из Отрара потянулись в сторону реки, в двух полетах стрелы от всех городских ворот были приготовлены глубокие рвы с заостренными кольями на дне, рвы были прикрыты ивняком и дерном с жухлой травой.

Работа закончилась, сотники и старейшины подобрели, и горожане теперь бродили среди бывшего лагеря, подбирая брошенное монголами, дивясь его скудности, топили оставленные монголами земляные печи и радовались чему‑то, удивляя этой своей радостью тех, кто помудрей.

К вечерней молитве никого за стенами города не было, к открытым воротам были стянуты войска, и лучники вышли на стены.

Монгольская конница появилась на рассвете.

Четвертый тумен, ушедший за два форсанга, ночью, оставив повозки и имущество, стремительно двинулся обратно к Отрару.

Каждый солдат имел для подмены двух коней, тумен несся без остановок. За час пути, когда небо уже светлело, монголы поменяли последних коней и, перейдя с волчьего хода на галоп, также без криков и команд, будто одна пятипалая рука в железной перчатке, выскочили к городу.

Впереди еще дымили оставленные ими печи, и ворота красной крепости были открыты. Крепость надвигалась.

Мальчик‑монгол с розовым, будто вымоченным в молоке лицом, тот, что смеялся над обделавшимся гонцом у шатра кагана, шел в первую в своей жизни атаку. Вчера утром отец сам заплел ему косицы, они плотно лежали на щеках, так же плотно, как у тех пожилых и сильных, что скакали рядом, и мальчик ждал сечи и жаждал ее, он ждал, когда тысячник подаст сигнал и когда весь тумен, идущий там, за плечами, издаст протяжный боевой, вселяющий ужас клич, и уже открыл рот и успел понять счастье этого вседозволяющего крика, как вдруг высокая красная крепость, странно накренясь, взлетела куда‑то в небо, перед глазами возникли палки, летящая в лицо сухая трава, он ощутил боль такую, о существовании которой даже не догадывался. Задыхаясь в собственном крике, увидел голубую реку и молодую еще свою мать, которая рванулась к нему по песку, схватила, и дальше ничего не было, была темнота.

Кипчакская кавалерия недолго преследовала остатки монгольского тумена.

Гирька, так и не снятая Кадыр‑ханом с сабли, больно ударила его по бровям, и он повернул кавалерию обратно, хотя и понимал, что засады впереди, скорее всего, нет.

У ловчих ям пехота отделяла монголов мертвых от живых, и Кадыр‑хан, проезжая мимо, велел казнить пленных и ямы не зарывать.

Через три дня все было как было. Вокруг Отрара дымили печи, монгольские юрты и повозки стояли на своих местах до горизонта, освободив лишь площадки, на которых днем и ночью при свете костров собирали и устанавливали камнеметные машины.

Туда, к этим площадкам, пропыленные и облезлые, бесконечной цепью шли верблюды. Рабы сгружали камни. Деловитые и вежливые, непрерывно кланяясь, сновали китайцы‑мастера, и строгие прямоугольники из тисовых деревьев, и вороты, и аккуратно разложенные канаты из верблюжьих жил, и деревянные ковши – ничего не изменилось в тех машинах, рисунки которых привез Унжу и которыми вытерли мокрых, пахнущих, как мартовские коты, гепардов.

Его, Унжу, машины, построенные здесь, в Отраре, и сложенные до поры под башнями внизу, были совершеннее. Солдаты не подпускали к ним никого близко. Унжу часами сидел рядом со своими машинами, посвистывал, сам поливал из ведер сочленения буковых креплений.

Иногда сюда приходил мальчик, сын Кулан, плакал и жаловался на мать. – Она боится, что когда монголы разобьют стены… – задыхаясь от слез, кричал он.

И тут же забывал и, открыв рот, слушал Унжу, который говорил ему:

– Когда это все кончится и монголы уйдут, я привезу араба‑врача, он вылечит тебе ногу. Арабы‑врачи умеют очень много и по части костей. Целой системой дощечек они делают удивительные вещи. Понимаешь, я не знал тебя, я учился лечению ран, но там был один араб, он рассказывал… – Унжу гладил мальчика по голове, смотрел на муравьев, бегающих в пыли, и думал, что скажет он мальчику и Кулан перед тем, как наступит конец.

Ночью, когда город засыпал, десятки воинов с длинными деревянными трубками, обмотав тряпьем кованые сапоги, бродили вдоль стен и слушали землю.

В эту ночь к старинной, построенной еще персами мечети Огул привел музыканта, совсем старого и на всех раздраженного. Музыкант лег на землю, но не ухом к земле, а плешивым затылком и предложил Унжу сделать то же самое.

– Ухо – просто дыра, – объявил он каркающим голосом, – звук входит в человека через тело.

Солдаты легли рядом с ними, сняв шлемы и положив на землю бритые свои головы, они сначала увидели медленно приближающийся к ним первый снег, им показалось, что они услышали, как этот снег ложится на камни, на огромный купол старой мечети, и вдруг все одновременно и явственно ощутили, не услышали, а именно ощутили прерывистый скрип. Там, глубоко под землей, глубже, чем предполагалось, монголы вели подкоп, двумя параллельными туннелями огибая мечеть.

Приехал Кадыр‑хан, не стал обматывать сапоги, а почему‑то снял их, прошел босыми крупными ступнями, оставляя на белом снегу черные следы. И лег, как учил музыкант.

Солдаты молча смотрели, как он лежит, не мигая, уставившись на ставший белым купол мечети. Потом Кадыр‑хан поднялся и негромко, будто там, внизу, могли услышать, весело приказал рыть встречные ходы и готовить нефть, деготь и огонь. Потом велел старику играть.

Он долго стоял под густым белым снегом, так и не надев сапоги, и слушал странно печальный напев.

К утру площадь вокруг старой мечети была оцеплена солдатами, горели маленькие костерки, горожане и рабы осторожно выворачивали каменные плиты, обнажая землю.

Утром заморозило. Вчерашний снег в монгольском лагере был уже черный и затоптанный, ближе к стенам он был еще белым, и граница эта была резка. Маленькие скорченные фигурки убитых вмерзли в землю и, присыпанные снегом, не были уже похожи на людей. Иногда из такого холмика, как одинокий куст, торчала стрела в изморози. Монгольские войска ели – из лагеря на стены тянуло запахом несвежей вареной конины, кипчаки принюхивались и сплевывали. Камнеметы из толстых окоренных стволов резко выделялись там на затоптанном снегу. Появился монгольский нойон в шубе, объехал камнемет, крикнул, клуб пара вырвался изо рта. Китайский мастер быстро побежал, стуча деревянными подметками по обледенелой земле, добежал до камнемета и ударил палкой по кольцу. Вал завертелся, шест ударился о поперечину, изморозь обсыпала китайца, ковш выплюнул большой темный камень, и этот камень ударил в стену. Стена была тоже в изморози и на месте удара стала ярко‑красной.

Нойон закричал опять, и камни полетели в стены, покрывая их рябью красных пятен.

Гул, грохот и пыль встали над городом. В воздух поднялись тысячи птиц, никто не подозревал, что в городе их столько. Крик их не был слышен, они кружили наверху беззвучно и вдруг, будто разом, устремились в степь, очистив небо.

Камнеметы перестали бить, китайцы с ведрами и чайничками быстро и ловко стали поливать дымящиеся шестерни. В городе ревел и бился напуганный скот.

В монгольском лагере запели трубы, тумены появились и двинулись вдруг, беззвучно пожирая белое пространство.

Впереди, как всегда, сарбазы, и пар из тысяч глоток пеленой встал над идущим войском.

Когда тумены прошли замерзший ров, кипчакские лучники сбросили вниз за стены толстые бараньи рукавицы, и первые стрелы, пропоров воздух, с гудением ушли туда, в толпу атакующих.

Опять ударили камнеметы, теперь они били мелкими обломками, летящими далеко за стены, и опять, как в прошлый раз, над головами сарбазов возникли лестницы, на стены полетели крючья.

Внезапно что‑то переменилось, что – не понятно, сарбазы скатились вниз, повисая на лестницах и канатах, удерживая их на месте своей тяжестью. На лестницы поднимались монголы.

Это были другие лица и другие – без страха – глаза. Теперь на своих широких стенах кипчаки бились не с сарбазами, смысл существования которых среди монголов состоял в том, чтобы умирать. На стенах рубились монголы, смысл существования которых состоял в том, чтобы убивать.

Обученные для боя горожане спустились вниз, тех, кто не хотел, заставили, на стенах оставались только солдаты. Сотники шли впереди сотен, тысячники подняли на копьях значки своих тысяч и рубились впереди. Гулко били кипчакские боевые барабаны, и городские музыканты тоже стояли в тупиках улиц и играли что есть мочи. Камнеметы забрасывали улицы обломками, и ополченцы, и подростки держали над музыкантами деревянные щиты, кошмы и даже тазы.

При всем драматизме того, что происходило сейчас на стенах, главное должно было случиться у старой мечети, и это понимали все. Солдатам на восточной стене не велено было даже оборачиваться, даже украдкой глядеть сюда. Здесь же чадили факелы, вонял давно кипящий жир, маслянистые бурдюки с нефтью лежали вдоль всей линии монгольского подкопа и вдоль всей линии стояли войска с дубинами и крючьями.

Лицо Унжу было разбито камнем, кровь заливала шею и стальной нагрудник, и он старался держать голову запрокинутой кверху. Хумар обложил ему глаза и лоб снегом, и когда Унжу открыл глаза, то через кровавую пелену не увидел ничего и только после – накренившийся купол старой мечети, и он тихо сказал об этом Хумару:

– Мечеть накренилась, Хумар…

Вдоль стен мечети были вырыты глубокие ходы контрподкопов.

Унжу перепрыгнул через такой подкоп, сбросил кровь и снег с лица, прислонился лбом к стене мечети, холодный камень успокаивал боль. Он отломил льдинку, пососал и плюнул, и в первую секунду не понял. Казалось, ничтожная льдинка произвела все это. Там, где упала льдинка, совсем недалеко, у ног, земля, будто перевернутая юрта, проваливалась, проседала, обнаруживая не маленький, как думалось, а многометровый лаз, в воронку сыпалась земля и куски кирпича из основания мечети. Потом из земли возникли грязные шлемы, испачканные в глине мечи и руки. И первый монгол, быстро подгребая под живот землю, полез наверх, щурясь и ничего не видя на ярком свету. И так ничего и не увидев, умер от удара огромной дубины, смявшей лицо, шлем и череп. Мгновенно несколько крюков вырвали его и отволокли. Ноги монгола еще продолжали дергаться, как тогда у сотника, которого волокли арканами. Из отверстия в земле все лезли и лезли ничего не понимающие, ослепленные после темноты тоннеля, и дубины и крючья работали, как на бойне. Солдаты споро заглубили ямы по всей длине подкопа, Хумар страшно, пронзительно закричал, будто горло лопалось, и туда, в ямы, одновременно полился горящий жир, нефть и полетели факелы.

Удушливый дым и смрад заполняли воздух, под землей выло, ослепленные, черные, в тлеющих тулупах монголы лезли из дыр, уже не для боя и даже не для жизни.

Дело здесь заканчивалось. Унжу поставил дубину, зачем‑то попридержал, чтобы не упала, и пошел на стену. Оттуда было видно, как из больших юрт – там, в этих юртах, начинался, видно, подкоп – потянул дым, как там забегали люди и всадники пошли оттуда наметом передавать нойонам горькую весть. Сев у пробитого заиндевелого барабана, Унжу засмеялся. А потом, открыв рот, спросил:

– Эй, лучник, у меня есть зубы?

Лучник кивнул, и они хохотали оба, глядя, как внизу Хумар посылает гонца Кадыр‑хану и не может говорить, потому что его рвет. Как цепочка ослепших пленных монголов выстраивается за поводырем, тоже монголом, но ослепшим на один глаз. Как Хумар машет Унжу руками, чтобы тот спускался, как кружок солдат мочится в темную яму, над которой висит дым.

Унжу опять посмотрел в сторону монгольского лагеря. Большущую юрту там повалили, была видна и тропа, по которой ночами уносили землю, вокруг поваленной юрты было много людей, пеших, конных, там, из подкопа, валил дым, черный и жирный, и никто не выходил.

В предрассветный час, когда воздух перестал быть зыбким, три большие башни западной отрарской стены выглядели не как накануне. На башнях, разлапистые и тяжелые, стояли копьеметы. Это было его, Унжу, утро. Черный, страшный, с сожженным, а теперь еще с разбитым лицом, в доспехах с лопнувшими ремнями, с плетью, которой он ночью хлестал рабов и воинов, торопясь к утру, Унжу стоял, широко раскрыв рот, и глядел, как первое заостренное бревно с пронзительным скрипом полетело в сторону монгольского лагеря, как оно пробило насквозь спящего верблюда, как верблюд нашел силы встать и, нанизанный на это бревно, крича побежал по лагерю, сдирая кожи с ближайших юрт.

На следующем бревне Унжу когда‑то вырубил уйгурскую надпись, означающую приветствие, и вдавил в прорезь букв медные пластины. Это бревно легло еще удачнее. Унжу показалось, что он увидел блеснувшую медь, когда бревно ударило в монгольский камнемет, заваливая раму и разрывая ремни.

По лагерю между тем завертелись всадники, и уже через несколько минут толпы людей, подгоняемые ими, принялись оттягивать камнеметы. Копьеметы выбрасывали бревна, сшибая людей и разгоняя верблюдов по лагерю.

Когда солнце, встав в зенит, уничтожило тени под стеной, монгольские камнеметы больше не грозили западной части города.

Унжу сел, кровь опять полилась из разбитого лба.

Подошел Хумар, сел рядом, Унжу так колотило, что Хумар хмыкнул и отодвинулся.

Когда Огул отыскал их, они спали, рты у них были одинаково открыты, синий пар вырывался из горла одновременно одинаковыми струями.

Раб‑булгар и Кулан принесли мясо.

– Тебе нельзя подниматься на стену, – сказал ей Огул, – ты не выносишь ему сына, он же рассердится и выстрелит в тебя бревном. Видишь, как у него это получается… – Огул шутил с неподвижным лицом, и Кулан испугалась. Он взял у нее кусок мяса, положил Хумару в открытый рот и, подняв вверх мягкий, не тронутый тетивой палец, подождал, пока Хумар стал жевать, не просыпаясь.

Сын Огула привел к стене музыкантов, и они вдруг громко заиграли, подняв кверху бледные счастливые лица.

Город плясал, выл, перекликался музыкой.

Из монгольского лагеря по‑прежнему тянуло вареной кониной, прелой кожей и обжитым человеческим жильем.

Улицы вокруг площади были забиты скотом, площадь же была пуста, ноги скользили по каменным плитам, львы в фонтанах, как и тогда, таращили неподвижные, покрытые коркой льда глазницы. Ветер крутил поземку под поднятыми лапами, и Унжу показалось, что он живет второй раз, что сейчас там, на ступенях, появится Хумар и поскользнется, но Хумар шел рядом.

– Я хочу попросить дом сбежавшего купца и сотню для сына Огула, – говорил Хумар, – мальчик заслужил… Но ты стал неприятен и нескромен и сейчас можешь навредить мне у Кадыр‑хана, прости меня… Даже когда все хорошо, у тебя глаза – как у лисы в клетке…

В коридоре дворца сновали писцы, толстые и спокойно деловитые. В расшитых халатах и белых, не тронутых ни гарью, ни влагой чалмах. Лица писцов были такие, будто судьба города легла на их плечи, и двое ободранных, с побитыми лицами воинов нарушают ход важных и неотложных дел.

– Хумар‑тысячник, пройди, – сказал старший писец, посмотрев табличку, – Унжу‑хана не велено пускать.

– Это ошибка, – забормотал Хумар, он вдруг потерял уверенность, съежился, будто меньше стал, и губы у него затряслись, – за нами приезжал сотник, посмотри, пожалуйста, другую табличку… Эта твоя – она старая табличка… Тогда Унжу был действительно не во всем прав…

Подошел векиль, они с писцом заговорили о фитилях для светильников, потом отошли в сторону, продолжая беседовать, при этом писец забрал с собой ключ от большого ящика с табличками.

Унжу поднялся с носка на пятку, качнулся обратно и вдруг издал губами непристойный звук, громкий и пронзительный, такой издает бык, переевший сочной травы. Все замерли и уставились на него. В наступившей тишине Унжу повторил то же самое, повернулся и пошел прочь, чувствуя спиной, что солдаты конвойной сотни, сколько их было – пять, шесть, он не знал, не оборачивался, идут за ним, ожидая команды.

Что‑то там сзади происходило еще, что‑то упало.

– Унжу‑хан!

Когда Унжу обернулся, векиль бил писца кулачком по лицу, и ящик с табличками был открыт. Векиль сорвал с писца чалму и несколько раз ударил его головой о ящик.

Лицо Хумара было бледным и потным, огромные руки дрожали, будто не они совсем недавно вращали над головой двухпудовый топор. Хумар попытался улыбнуться, но губы его вдруг искривились.

– Унжу‑хан, пройди, писец будет наказан.

Они прошли по длинному и широкому полутемному коридору. Вдоль стен лежали мешки с зерном, промелькнул хорек с мышью в зубах. Будто сами по себе открылись тяжелые двери, за дверьми стража, еще одни двери.

Что угодно ожидал Унжу, только не то, что увидел. Низкий стол, на нем балык, изюм, ядра орехов, за столом монголы, двое. Арслан‑хан, сколько же его не видел Унжу, и тысячник, чем‑то знакомый. Да нет, никакой он не тысячник, кривой монгольский нойон в рыжей шубе тысячника. Только сейчас разум подсказал, чем пахло в темноте у дверей – знакомый запах монгольской овчины и немытого тела, мучительный когда‑то запах, доводивший Унжу до рвоты, смешно вспоминать.

Арслан‑хан обсосал ладонь, от кувшина с водой отказался, вытер руки об ковер.

Ну, посмотри, посмотри. И посмотрел. Сначала скользнул по лицу Унжу, узкие глаза дернулись, и редкий ус дернулся. Кривой нойон в тулупе тысячника что‑то ощутил и тоже уставился единственным своим глазом. Тут же, откуда не видно, заиграла, запела музыка.

Сколько раз бессонными ночами в степи караван‑сарая или в гуртхане зимой или летом, на мягком ли ложе, или на земле, представлял себе Унжу эту встречу: желая, не больно‑то веря, что может так случиться, а вот Аллах пожелал. Если счастье в исполнении желания, то вот оно.

Сбоку на возвышении на мягких коврах Кадыр‑хан и Караша не едят, смотрят. На лице Караши улыбка. Только бы не остановил, не крикнул, не велел замолчать.

– Здравствуй, Арслан‑хан. Не напрягай голову, ты на верной дороге, отпусти коня, он сам привезет тебя. Это я, Унжу‑тысячник, хочешь, я почешу тебе лопатку, ты когда‑то любил…

Толмач, сидя на корточках, что‑то лепечет, переводит.

Сзади тоскливо вздыхает мало что понимающий Хумар.

Арслан‑хан облизывает красные губы красным маленьким языком, хлопает себя по кожаным штанам крепкой ладонью и протягивает Унжу большую жирную полоску балыка. Одноглазый нойон смеется и качает головой.

– А ты, значит, знатного рода, Унжу, – хохочет Арслан.

– Сядь и беседуй, – раздается сзади голос Кадыр‑хана.

Унжу садится, не оборачиваясь.

– Как твои жены и стада? Вырос ли твой сын? И зачем ты переодел Алак нойона в простого тысячника? – имя нойона Унжу вспомнил внезапно, когда Аллах хочет наградить, он награждает щедро. Одноглазый нойон, услышав свое имя, вскидывает башку с косицами, зрячий глаз набух гневом. Унжу улыбается, трещит, трещит позади толмач. И довольный кашель Кадыр‑хана – награда.

– Я понял, – смеется Унжу, – Великий каган прогневался на своего нойона, ведь он не может взять Отрар… Мне кажется, у вас будут большие перемещения, Арслан‑хан, а?!

Арслан‑хан опять хлопает себя по ляжке и опять хохочет.

– Мне не хватало тебя, я думал, что тебя задушили китайцы, и это стоило им одного городка, правда поменьше, чем этот.

Теперь Арслан говорит, покачиваясь, будто прислушиваясь к собственному животу.

– Великому кагану нужны храбрые народы… Земля, сказал Великий каган, похожа на ведро, в котором много дыр, нужно же из чего‑то делать заплаты. Так он сказал и разрешил мне удариться с твоим господином грудь в грудь в знак дружбы.

– Земля должна стать большим лугом, – перебивает Арслана Унжу, – и на этом лугу должны пастись только монгольские кони, это тоже слова кагана, и тогда он ничего не говорил про дырки в ведре… Где половина твоего народа, Арслан? Разве тебе не снятся твои зарезанные меркиты? Эй, нойон, ведь ты ходил в поход на меркитов, а?! – Унжу говорит спокойно и тоже покачивается. – Но наши города оказались готовы встретить вас, и вы пришли к нам с ложью и вместе.

Слуги принесли кувшины омыть руки. Хумар взял из вазы орех, смутился и положил обратно. Он не понимал, зачем он здесь, не понимал, о чем разговор, зачем здесь монголы, он вообще ничего не понимал, кряхтел и был несчастен.

Арслан сунул руку в свой сапог и, посмеиваясь, потянул кусок ткани с неровными краями, кусок был длинный, ткань золотая, в узорах, разматывалась и разматывалась, ложась на стол, балык и намокая в приправах. В край ткани Арслан высморкался и вдруг длинно и громко завизжал. Помолчал, взвизгнул опять, дружески стукнул Унжу в плечо и объявил, обращаясь только к нему, Унжу:

– Никаких ваших городов нет, Унжу‑хан, и то, что ты говорил про монгольских коней, уже случилось. Я отрезал этот кусок от огромной тряпки в главном доме вашего бога в Бухаре… И в Самарканде, и в Ургенче тоже бегают наши собаки… Ваш жирный шах привязан у шатра кагана за то место, которым он так радовал свой гарем… – Арслан хлопнул себя по штанам.

– Взять, взять, взять… – Караша сбежал вниз, ударил сапогом по столу.

Из‑за ширм, из дверей выскочили солдаты. Арслан визжал, хохотал и свистел, бегая по залу, крутил над головой длинную золотой ткани тряпку.

– А‑а‑а‑а! – Хумару наконец стало ясно, что делать и зачем его позвали. Огромные его ручищи взлетели над солдатами, Арслан икнул, покатился, последнее, что увидел Унжу, это солдаты, которые повисли на Хумаре. Потом Унжу втолкнули в низкую комнату, где, привалившись к стене и широко открыв рот, глядели на него два перепуганных музыканта, еще через минуту в комнату втолкнули и Хумара. Хумар покрутил головой, хмыкнул и задумчиво сказал:

– Ничего не понимаю, действительно. Объясни мне что‑нибудь, Унжу. Конечно, я не всегда все понимаю, но все‑таки… – и замолчал.

Боковая дверь открылась, и совсем не оттуда, откуда ждали, вошел Кадыр‑хан. Музыканты бесшумными тенями исчезли. Индус с позолоченными ногами и в шубе на смуглом теле поставил светильник, он почти непрерывно кашлял, лицо у него съежилось с тех пор, как Унжу его видел.

– Ошибки, столько ошибок, – Кадыр‑хан бросил в угол скомканный кусок золотой ткани, – победа рождает победу, а ошибка – ошибку… У нас же с тобой, Унжу, победа рождает ошибки, почему?! Я столько времени ничего не знаю о Великом. И для этого допустил этих… двух… Но ведь это ложь, верно, Унжу?! – Кадыр‑хан кивнул на ткань и посмотрел в глаза Унжу глазами больной лошади, помолчал, ожидая, что Унжу кивнет, не дождался и покивал сам. – Хумар, ты хотел попросить дом для себя и сотню для сына Огула… Он хороший мальчик. А ты, Унжу, хотел, чтобы я перешагнул твой порог, когда у тебя родится сын?!

– Я никому не говорил этого…

– Ночью мы спустим этих твоих монголов с северной стороны. Там будет много народу и много огня. Вы с Хумаром тоже спуститесь, но тихо, – Кадыр‑хан раздраженно посмотрел на кашляющего индуса, отчего индус зажал ладонью рот, – когда уходят гости, никто не обращает внимания на собак и слуг. Если вы пройдете через монголов, то на восходе запалите костер на черной горе. У тебя, Унжу, будет письмо к Великому, не мое, Караши, Великий не любит меня, – Кадыр‑хан помолчал и опять посмотрел на индуса, – ведь если вонючий меркит привез мне эту тряпку из Бухары, которая не может пасть, то почему не подумать, что такую же тряпку давно привезли Великому из Отрара… И тогда пятьдесят тысяч войска, которые я жду каждую ночь, не посланы?!

Воздуха Унжу не хватило, и жар прилил к лицу. Это была истина, которую не может видеть воин на стене, это была истина, открытая лишь владыкам. Таким, как Кадыр‑хан, предвидевшим так много. И первый раз за весь разговор Унжу кивнул и кивнул еще два раза подряд себе и всем тем, кто говорил и верил, что помощь к Отрару придет.

– Письмо пусть отдаст Хумар, – Кадыр‑хан большой своей рукой взял Унжу за затылок и приблизил, изо рта пахнуло жаром, как от зверя, – ведь мы с тобой кое‑что знаем о Великом… Даже в дни испытаний он вспомнит все.

С высоких ступеней дворца, там, за пустой площадью, улицы, забитые скотом и людьми, задымленные бесчисленными кострами, на которых готовили еду, чем‑то напомнили монгольский лагерь.

Резко потеплело, снег таял, повсюду капало, хлюпало. Навстречу им через площадь шел Огул, ведя в поводу трех коней. Лицо у него было встревоженное, он хотел спросить Хумара о сыне, но, поглядев на них обоих, спросил другое:

– Вам дали еды? Или мы поедем ко мне…

И, не получив ответа, не стал переспрашивать.

– У монгольского воина, – сказал Унжу, – не бывает виноватого лица, ему нельзя, он мало думает, за него думают другие, и он много улыбается по этой же причине, запомни это, Хумар, если хочешь жить… Еще не советую тебе так уж разворачивать плечи, хотя, пожалуй, в рыжем тулупе это не будет особенно заметно…

Только сейчас Огул что‑то понял и вздернул головой.

Этой же ночью на северной стене зажгли много факелов. Одноглазый нойон залез в корзину деловито, подобрал шубу и сел на дно, сердито глядя в небо, Арслан‑хан был хмелен, хохотал и еще брыкался, когда остальные монголы, толмачи, и слуги уже сидели в корзинах.

Внизу к стене была подпущена монгольская сотня, там тоже зажгли смоляные поленья.

Хумар и Унжу спускались за круглой башней неподалеку. Два крепких каната сбросили на землю, Огул хотел сказать что‑то, но только махнул рукой. В рыжем не по росту монгольском тулупе Хумар сам был похож на круглую башню, он взялся за канат, глянул тоскливо и исчез в темноте. Унжу тоже взялся за веревку, скользнул вниз, чувствуя, как темнота будто всосала его.

Приподняв шубы, они тихо и бесшумно побежали прочь. И тут же наткнулись на монгола, обкрадывателя убитых. Унжу оскалился, ругнулся по‑монгольски, и тот отступил в темноту, оставив узел.

Позади, в той части стены, там, где спускалось посольство, наверху одновременно погасли факелы, и сразу же оттуда раздался не то крик, не то вой. Ни Хумар, ни Унжу не знали, что по приказу Кадыр‑хана кипчаки внезапно побросали все факелы вниз, и лучники ударили по монгольской сотне, слугам и толмачам, не трогая лишь двух послов. В свете пылающих смоляных поленьев и чадящих, брошенных на мокрую землю факелов нойон и Арслан‑хан выбрались из корзин. Арслан‑хан побежал, нойон же пошел, не торопясь, и, уже исчезая в темноте, остановился у факела и плюнул. Но стрелы вдруг стали с чавканьем втыкаться в землю впереди и сзади, и сбоку, образуя круг. Затем две длинные красные стрелы ударили нойона в обе щиколотки, он закричал и попытался бежать.

Костер было не развести, хворост на Черной горе мокрый и колючий, огонь занялся лишь на рассвете. Хумар снял монгольский тулуп и, бешено вращая, раздувал и раздувал пламя, пугая по временам двух украденных коней. Занимался рассвет, унылый и серый, в дожде.

Пламя гудело, притупляя чувство опасности, хотелось спать. Рассвет проявлял окрестности, дождь не сбивал формы, мир вокруг проявлялся, будто придуманный, не всамделишный, будто из снов. Неожиданно со стороны города раздался странный, ни на что не похожий скрежет, возник, пропал, растворился и вдруг перешел во вздох, только позже дрогнула земля. Хумар перестал махать тулупом, но пола тулупа попала в огонь, он выругался и отошел, охлопывая шкуру о землю. Они долго вглядывались в смутный, рождаемый рассветом силуэт города за пеленой дождя. Что‑то там было не так, но что, они не поняли. Уже садясь в неудобное ему монгольское седло, Хумар вдруг сказал, хмыкнув:

– Что‑то у меня с глазами, Унжу‑хан, или с головой, куда девался купол старой мечети?

Костер горел ярко, надо было уезжать, и они заторопились.

– Сын Огула рассказал мне, – Хумар ударил пяткой коня, – что румийцы и персы по любому случаю делали глиняные таблички, даже если подвиг был незначительный, у нас же этим никто не занимается… Все‑таки это неправильно, друг Унжу… – и, уже тронув лошадь, добавил, хотя Унжу промолчал: – Действительно, – опять выругался и сплюнул.

Гул, который услышали с горы Хумар и Унжу, означал большую беду, но это им, уезжающим, было знать не дано. Как и то, что никто не увидел их костра, потому что в это рассветное время старинная еще первых персидских завоеваний мечеть, сейчас обрытая траншеями и канавами с сетью подкопов и контрподкопов, вдруг будто скользнула по отсыревшей глине, дернулась, качнулась и рухнула, завалив лошадь, ударившись куполом о стену и башню, которые треснули от этого удара.

Когда Кадыр‑хан с конвоем приехал на площадь, все улицы вокруг были заполнены молящимися напуганными людьми.

Солдаты спустились со стены, и Кадыр‑хан приказал бить их за это палками, на стены спешно поднималась охранная тысяча. Векиль выкрикивал, что велено рвать языки тем, кто осмелится говорить или шептать, или даже беседовать в кругу семьи и близких о том, что падение мечети – знак того, что Аллах отвернулся от города и город обречен, ибо Аллах не может быть на стороне неверных, осквернителей ислама.

– Пусть об этом объявляют на площади каждый намаз семь дней, – дополнил векиля Кадыр‑хан. – И пусть палач поработает сегодня, даже если не будет больших оснований, – но, уже говоря это и глядя на затихшую толпу под холодным унылым дождем, сам вдруг впервые, может быть, в жизни ощутил слабость и неуверенность такие, что захотелось слезть с лошади, исчезнуть и раствориться в этой толпе, сесть молиться, ни о чем не думать, и также впервые в жизни он позавидовал самому ничтожному из них за то, что им все же есть на кого надеяться и на кого положиться.

У него же и этого не было.

– Может быть, объявить, что мечеть завалила новый подкоп, который опять вели неверные, – предложил он векилю и пожал плечами, – если бы не дождь, ах, если бы не дождь.

Кадыр‑хан долго шел по городу пешком, ему казалось, что даже дети не поднимают на него глаза.

Поздней ночью этих же суток сын Огула, несколько часов назад получивший сотню и уже в новых стальных наплечниках и в новом шлеме с железной стрелкой до губы, проверял караул у ворот. Яркие высокие костры в специальных каменных заглублениях с поддувом не гасли, а, напротив, мощно гудели под мелким ледяным дождем. Ночь вот‑вот уже должна перейти в рассвет. Новый шлем был велик, и это было обидно. Был в сумке другой, но без стрелки. Он померял тот и этот, вздохнул, остался в том, который велик, подложив внутрь кусок кожи, и глянул в черное, сыплющее дождем небо. Потом пошел вдоль стены и ткнул сапогом под ребро задремавшего лучника, такого же юного, как он.

– Спящий не слышит не только сотника, – важно сказал сын Огула и поднял палец, – он не слышит свою смерть.

Пожилые воины были сильно побиты предыдущими штурмами, и сотня больше состояла из пополнения, а пополнение было очень молодо.

Неожиданно возник цокот копыт по мощеной улице. Из темноты, проявляясь в свете костров, выезжала конвойная часть, личная охрана Караши, синие нездешние кольчуги и хорезмийские щиты.

Караша был не в шлеме, в чалме, потемневшей от влаги, черные выпуклые глаза, перебитый сплюснутый нос и открытый для дыхания рот. Сын Огула не впервые видел Карашу близко, но всегда в шлеме. В шлеме Караша был воин, сейчас же сын Огула удивился собственной вдруг возникшей к Караше неприязни.

Караша смотрел на него, припоминая что‑то, и дышал тяжело и шумно, не закрывая рот. Потом велел подойти ближе.

Сын Огула поклонился, успел ощутить страшный, раскалывающий все удар и перестающими уже смотреть глазами еще успел увидеть свой собственный смятый шлем, который катится под ноги лошади Караши и бренчит, как ведро.

В этот же предутренний час колченогий сын Кулан проснулся с отчаянным криком, перебудившим весь дом. Сидя на войлоке, выкатив глаза, мальчик плакал и кричал:

– Монголы, монголы входят в большие ворота…

И как его ни успокаивали, продолжал кричать, что он видел входящих в город монголов.

– Я видел, видел, – кричал он, задыхаясь и заходясь в кашле, от которого синел, – они въезжают, въезжают, скорей…

– Замолчи, замолчи, – кричала беременная отекшая Кулан, – этого нельзя кричать, тебе вырвут язык, сейчас булгар сбегает к воротам… Беги, беги, булгар; если ты вернешься быстро, я отдам тебе старые сапоги Унжу‑хана, хотя можешь взять их сейчас, только вернись быстро.

Булгар обрадовался сапогам, схватил их и выскочил на дождь. Он хотел было пересидеть, не бежать же в темноте, и направился было к дому Унжу, но сзади тонким голосом закричал евнух с факелом и показал плетку.

– Положи этот белый камешек у ворот, – крикнул евнух, – и утром покажешь мне его…

Вздохнув, булгар побежал. Он долго бежал, проклиная на ходу свою жизнь, которая хуже, чем у собаки, всхлипывая и одновременно радуясь сапогам.

Улица вывела на дорогу, там впереди были ворота, там, ярко и успокоительно гудя, горели костры, булгар припустил и вдруг остановился и выронил камень.

У костров никого не было, огромные железные ворота были настежь распахнуты. И там, за ними, была темнота, дождь и странный нарастающий гул. Булгар метнулся назад, остановился, побежал вперед и вдруг наткнулся на мертвого сотника без шлема и с разбитой головой, и только теперь он увидел у ворот две высокие кучи мертвых тел. Из сплетения кольчуг, рук и ног глядело молодое лицо, такое же, как у сотника, и булгару показалось, что он сходит с ума.

Сзади кто‑то не то шел, не то бежал. Булгар побежал вперед к воротам, из‑за которых доносился этот странный не то гул, не то шум, и, уже понимая, что происходит, попытался потянуть тяжелую створку, но она была рассчитана не на тощего раба, а на десяток сильных воинов, таких, что лежали за спиной в этой страшной куче. Он увидел рядом с собой евнуха с трясущимися белыми губами, тот тоже пытался тянуть створку, и тут же из темноты на них выехали всадники с черными, завернутыми вперед косицами. Их было так много, что дрожала земля, и огонь костра задрожал.

Передний всадник в резко пахнущем черном тулупе и черных, будто лакированных латах не понял, кто эти два уродца, по его мнению, открывающие ворота, он сунул руку в мешок и бросил им по нескольку деревянных табличек с изображением скачущего леопарда. Это была жизнь, хотя они еще не знали об этом.

Цитадель, ровесница развалившейся мечети, приняла последние десятки кипчаков под низкие свои – коню не въехать – ворота. Цитадель ощетинилась лучниками и замерла, ожидая смерти, тяжелая и угрюмая под красным, перемешанным с дымом горящего города восходом.

Босой, с золочеными ногами, индус бегал за Кадыр‑ханом с доспехами, но Кадыр‑хан оставался голым по пояс, халат он снял, бросил вниз, сел на зубец и сидел, ожидая стрелы, как огромная нелепая птица. Но в него не стреляли.

Горящий город внизу выл, визжал, звал, и Кадыр‑хан вырвал из халата векиля клок китайской ваты и заткнул уши.

Внизу под башней метались брошеные кипчакские кони, среди них вертелись монголы, их становилось все больше, с белыми на фоне дыма и огня запрокинутыми лицами и открытыми для неслышных ему криков ртами, черными, закрученными косицами на скулах. И там, среди них, то ли мелькнули, то ли причудились Арслан‑хан и Караша. Впрочем, ему было все равно.

Неожиданно на цитадели ударил огромный старый барабан «Большой верблюд» – так его называли, и обреченная цитадель пустила красные стрелы, будто плюнула во все стороны кровавой слюной.

«Большой верблюд» бил месяц над горевшим, а после уже мертвым городом, убитые кипчаки лежали повсюду, иногда Кадыр‑хан, странно внезапно помолодевший, узнавал их, садился на корточки, гладил лица и о чем‑то вдруг начинал говорить, глядя в мертвые глаза. Но камнеметы ломали цитадель непрерывно, грохот не пропускал слова, да и сам Кадыр‑хан их не слышал, его уши всегда были заткнуты ватой и залиты воском. Он и командовал оставшимися в живых жестами, да и командовать уже было почти некем.

Когда монголы поднялись наконец на башню, у большого барабана оставалось двое кипчакских воинов, голый, с облупившимся золотом на ногах индус, сам Кадыр‑хан да маленький векиль, который продолжал бить в барабан.

Стрел у них не было, меч у Кадыр‑хана был сломан, он швырнул в монгольского сотника один за другим три тяжелых куска черепицы и попал.

Векиля, индуса и двух кипчаков расстреляли из луков, хотя Кадыр‑хан, раскинув руки, метался, пытаясь закрыть их собой и ища смерти, но на него накинули ловчую сеть, такими ловили кабанов и тигров в тростниковых зарослях Инжу. Потом монгол подошел, оттянул за руку мертвого индуса и коротко рубанул барабан. Барабан грохнул, обдав монгола пылью, в дыру попал ветер, барабан издал воющий крик, крик пронесся над мертвым городом и ушел в степь.

Кадыр‑хана везли в огромной железной клетке на повозке из восьми колес. Вся клетка была увешана конскими хвостами разной масти. Тугой весенний ветер трепал эти хвосты, и они бились, то взлетая, то опадая, позади шли пленные кипчакские музыканты и пели, что страны кипчаков больше нет и никогда не будет.

Так везли Кадыр‑хана, и так петь велел Великий каган.

Степь еще в проплешинах снега уже начала зеленеть, птицы возвращались к гнездовьям. Странная эта процессия проезжала мимо черных, обугленных городов, вокруг которых во множестве бегали собаки. Иногда на горизонте возникал и приближался конный отряд монголов, они немного ехали рядом, цокали языками, беззлобно посмеивались, иногда даже бросали в клетку еду. Потом, как по команде, взвизгивали и исчезали. Кадыр‑хан сильно оброс, был косматый, грязный и оборванный, но в панцире и в сапогах с медными подметками. На солнце они отсвечивали яркими золотыми бликами. Он по‑прежнему что‑то бормотал про себя, смотрел только в щель в полу клетки, где тянулась земля. Один только раз поднял голову и глядел так странно и дико, что даже монголы посмеялись, посмеялись и принесли воды. Это было, когда на горизонте проплывала сожженная, обугленная Бухара.

С тех пор он не поднимал голову и уже не бормотал. А степь совсем зацвела, и в этой степи встречались длинные караваны пленных мужчин, молодых женщин и детей. Такие караваны гнали хворостинами монголы‑мальчики. Но ни Кадыр‑хан, ни пленные не глядели друг на друга. Хотя монгол‑начальник и приказывал музыкантам играть и петь еще громче.

Так они въехали в яблоневые сады вокруг Самарканда, цвет с яблонь облетел, и казалось, что белые лепестки издают грохот, но это были стенобитные машины, дробящие стены Самарканда, и желтая пыль над глиняными непрочными этими стенами поднималась высоко в небо и закрывала солнце. Желтый, под цвет пыли, шатер Великого кагана был раскинут на холме, поодаль на коленях стояло несколько людей в шелковых халатах, и Кадыр‑хан вскинулся и ударился о клетку головой, узнав среди них великого визиря Хорезмшаха, Карашу и младшего своего сына.

Бахадуры быстро и умело открепили клетку от настила, разом выдохнули, подняли отделенное от дерева железо и поставили на землю. Кадыр‑хан остался сидеть на повозке, уже не огороженный от мира железной решеткой. Сын посмотрел на него без интереса и не узнал. Одет он был чисто, в синем на вате халатике, Караша подошел и попытался помочь Кадыр‑хану слезть с телеги, но Кадыр‑хан напрягся, пнул его ногой, пинок получился слабый, и Караша покачал головой, как качают головой, когда имеют дело с неразумными еще детьми или с уже неразумными старцами. Бахадур засмеялся, отвел Карашу на место, поставил на колени. Резные двери шатра вдруг отворились, бахадуры и тарагуды подняли для приветствия сабли, но из шатра вышел маленький китаец с обиженными тонкими, поднятыми кверху бровками и мусульманин в белоснежной чалме, невозможно белой в этом обсыпанном пылью саду. Мусульманина Кадыр‑хан сразу узнал. Это был купец Ялвач из уничтоженного когда‑то им каравана. Стенобитные машины перестали крушить стены, но пыль не оседала, и в пыли было странно слышать, как гудят пчелы.

Китаец заговорил по‑монгольски и говорил долго, Ялвач слушал, наклонив голову к плечу, шептал губами и перевел неожиданно коротко и резко.

– Кто здесь может подтвердить, что этот человек действительно Кадыр‑хан – наместник Отрара? – и спокойно посмотрел Кадыр‑хану в глаза.

Кадыр‑хан увидел, как дернулась голова у сына и как расширились и стали огромными его зрачки. Он улыбнулся сыну распухшими, истрескавшимися губами и покрутил головой, будто приглашая его тоже удивиться глупости вопроса.

– Мы все можем подтвердить, – ответил Караша, – а если этого человека помыть, постричь и одеть в причитающиеся ему одежды, то это же подтвердит каждый кипчак. И этот мальчик – его сын – тоже. Этот человек очень знатного рода, и, хотя он сейчас в немощи и пыли, он большой воин. Если бы мы не оказали услугу Великому кагану…

– Ты говоришь, как торговец, нахваливающий свой скот, – китаец говорил быстро, Ялвач еле поспевал за ним, – замыслы кагана так велики, что ты, человек с перебитым носом, не в состоянии ни помочь, ни помешать ему. Великий каган даже благодарен тебе, но человек, предавший один раз, так считает Великий каган, не должен быть видим монгольскому воину, ведь это дурной пример, согласись… А поскольку монгольские воины должны быть повсюду на этой земле, значит, тебе и твоим людям нигде нет места.

Караша кивал, покуда китаец говорил, великий визирь уже понял, куда идет дело, и слушал, широко открыв рот и глотая воздух.

– И это говоришь ты, китаец?! – закричал Караша. – И правоверный доносит слова до наших ушей?! – он обращался ко всем: и к мальчику, и к неподвижным тарагудам, и даже к Кадыр‑хану. Это было так неожиданно, что Кадыр‑хан вдруг засмеялся, почувствовал благодарный взгляд мальчика и засмеялся нарочно резко и грубо еще раз, нарушая какой‑то заведенный здесь порядок, не раздражая этим смехом одного китайца.

И еще было удивительно, их судили безбородый маленький китаец и правоверный. Кадыр‑хан все ждал пусть не кагана, пусть хотя бы нойона, но резные двери шатра мягко поскрипывали под ветром, и начальник тарагудов не глядел на двери, а сощелкивал с рукава муравьев.

– Мы – слуги кагана, монголам было бы одиноко без нас, – ноги китайца в сандалиях, по голому пальцу бежит муравей, – ты должен простить нас, – говорит Караше китаец, – ты способен говорить много, и мы понимаем тебя… Но у нас еще столько дел, – повернувшись, китаец хлопнул в ладоши.

Начальник тарагудов ударил хлыстом по земле и гортанно крикнул одно непонятное слово.

Кадыр‑хан закричал и так же испуганно закричал мальчик, но мальчика не тронули. Бахадуры, будто совершая привычную работу, схватили Карашу и визиря, перевернули в воздухе, поставили на затылок и плечи, резко надавили, ломая шейные позвонки. Звук был негромкий, будто сухой прут треснул.

Мальчик продолжал кричать, глаза Караши и визиря были открыты, они были еще живы, и им предстояло прожить еще некоторое время в безмолвии и неподвижности. По лицу Караши от поломанного носа к ушам катились слезы, оставляя следы на пыльных щеках. Облетающие яблоневые лепестки ложились на лица и бороды.

Кадыр‑хан явственно увидел счастливое лицо Караши, когда войска выходили из Отрара навстречу первому тумену.

– Зачем? – крикнул Кадыр‑хан Караше. – Зачем?

Стенобитные машины затихли, теперь стало слышно мерное гудение пчел в пыльном воздухе, и Кадыр‑хан с удивлением понял, что стоит.

Сильные руки тарагудов подхватили Кадыр‑хана, он попытался ударить одного, рыжего, но не смог, его тащили между двумя высокими кострами, пламя гудело, пытаясь вырваться из каменных жертвенников, Кадыр‑хан обернулся, чтобы увидеть сына, мальчик кричал, схватившись за ствол яблони, и через пламя показался Кадыр‑хану объятым огнем.

Резные деревянные двери, темнота, Кадыр‑хана куда‑то бросили лицом вниз, палкой прижали шею. Он услышал кашель, негромкий спокойный голос и другой, который перевел:

– Ты хочешь мяса? – палка отпустила шею.

Желтый шелковый шатер был устлан внутри коврами, прожженными, в пятнах бараньего сала. Витые китайские светильники коптили, и шелк над ними прогорел. Глаза, постепенно привыкая к полутьме, проявили предметы и лица. Лицо у кагана было большое, плоское, глаза ярко‑желтые, таких глаз Кадыр‑хан никогда не видел у людей, знак беды – вот что были эти глаза, знак беды.

– Ты подумал о том, о чем думают все, – сказал голос, – и это правильно в твоем положении, но люди неразумны, – каган засмеялся, – когда я родился, был страшный ветер, небо было желтым, и такими стали у меня глаза. Но люди не поняли, что я ветер гнева нашего бога. Знаешь, они долго обижали меня. Я ходил с колодкой раба и прочее и много думал, и глаза у меня все желтели и даже стали светиться по ночам от мыслей и от горя. Но люди и тогда не поняли. Я вижу больше и дальше других, но слышу примерно то же, что остальные, я желтоглаз, а не желтоух, так что вы и тут ошиблись. Как ошиблись во всем остальном… Но ведь это пустяки по сравнению… Кстати, когда ты вырезал мой караван, вернув мне лишь купца с мокрым задом, мои глаза еще пожелтели, самую малость.

– Ты ведь знаешь, кого я истребил… А мокрые зады я видел у целых твоих туменов, – Кадыр‑хан сам услышал свой искусственный лающий смех.

– Хочешь мяса?

Черби взял с большого блюда кусок вареной баранины и положил на шелковый пол под носом у Кадыр‑хана. Запах еды ударил в голову, заставил предметы потерять объем, заполнил рот такой вязкой слюной, что захоти Кадыр‑хан что‑нибудь сказать, то не смог бы. И пробудил надежду не о себе, не о себе, но такую, что резко заболела спина.

– Погляди на них…

Только сейчас Кадыр‑хан увидел двух стоящих на коленях стариков. Один был мулла из бухарской мечети, другой – босой, в драном халате со странным незрячим лицом, толстым и будто изъеденным неизвестной болезнью.

– Несет ветер гнева Аллаха, – забормотал слепой, почувствовав, что на него смотрят, – все лишь мусор на этом ветру, лишь мусор.

Незрячий был вероотступником, когда‑то висевшим с Унжу на соседних столбах, но этого, конечно же, Кадыр‑хану знать было не дано.

– Эти ученые старики, их привели ко мне для одного дела, я потом скажу, для какого, – каган засмеялся, – они оба одного народа, и оба говорят, что им по триста лет, но при этом каждый просит, чтобы я содрал кожу с другого только за то, что один говорит, что их бог сказал так, а другой, что не совсем так. Несколько малозначащих слов в большой книге, их просто мог перепутать писец… Они воюют друг с другом всю жизнь и продолжают воевать сейчас, и каждый из них за то, что я уничтожу другого, обещает продлить мою жизнь. И это в то время, когда в домах их бога стоят мои кони. А ведь я даже еще не решил, оставить ли их народ жить на земле. Почему же ты считаешь, что я не прав, вытаптывая копытами своих коней эту землю для того, чтобы на ней выросло что‑то другое.

Последние слова он и так не говорил, кричал, теперь привстал, выкинул тяжелую руку вверх и сипло выдохнул боевой клич монголов: «Кху! Кху! Кху!» Потом сел, разжал большую жесткую, как у раба, ладонь и сдул с нее что‑то невидимое. Желтые глаза его не мигали, по лицу потек пот, и Кадыр‑хан почувствовал, будто тяжесть опустилась ему на плечи, сдавила и без того болевшие ребра, и подумал, что желтый китайский шелк для шатра выбран не случайно.

Два черби подняли стариков, толкнули друг на друга, и все присутствующие, кроме Кадыр‑хана, принялись есть мясо и смотреть, как измученные старики дерутся, царапаясь и пиная один другого коленями в живот. Когда они уставали, черби, смеясь, тыкали их палками, гоня друг к другу.

– Вот мой китаец, он много рассказывал мне о разных народах и о великих завоевателях, о которых я раньше ничего не знал. Прошло очень много лет, и целые народы умерли, но люди все равно знают и передают друг другу об этих исчезнувших владыках множество подробностей, и одни подробности хороши и приятны моим ушам, другие, представь, нет. И хотя среди тех владык и прочих нет ни одного подобного мне, но все же я должен подумать и позаботиться о том, что про меня скажут через тысячу лет. И, конечно же, ты не больше, чем подробность. Но мне бы не хотелось, чтобы истории с этим твоим городом когда‑нибудь придавали слишком большое значение, а от таких преувеличений спасает только смех, – и каган кивнул на дерущихся плачущих стариков. – Почему ты не ешь мясо?

Черби подошел и сунул кусок жирной баранины в руку Кадыр‑хана. В эту же секунду Кадыр‑хан швырнул этим куском мяса в лицо кагану И не попал. Кусок шлепнулся, не долетев. Четверо черби тут же прижали шею Кадыр‑хана палкой к кошме, надавили так, что он забил ногами, и отпустили.

Каган опять смотрел не мигая, брошенный кусок мяса лежал рядом с желтым сапогом, на него села муха.

– Ты угадал с мясом, я хотел посадить тебя на цепь и заставить просить еду здесь, у моего шатра, но ведь ты придумаешь что‑нибудь не то, и поэтому на цепь я посажу кого‑нибудь другого, тоже интересного для тех, – каган махнул рукой куда‑то вдаль над головой, будто через сотни лет, – тебя же я предам вечности, тебя зальют серебром, серебро сохранит твой облик. Конечно, это немного преувеличит твои заслуги, но, с другой стороны, мои мертвые тумены, моя победа… И потом для тех, – каган опять махнул рукой, и в этом взмахе было многое: и уважение, и пренебрежение, все спуталось, – обо всем надо думать заранее, для тех я буду справедлив, верно, китаец?!

Старики больше не могли драться, плача, они повисали друг на друге, поддерживаемые только палками черби.

– Не убивай моего сына. Что тебе один мальчик на всей земле? – выдавил из себя Кадыр‑хан.

Каган тяжело встал, спустился с помоста, схватил Кадыр‑хана за бороду и поднял кверху подбородок в то же время, как четверо черби крепко держали Кадыр‑хана. Увидев над собой желтые беспощадные глаза, Кадыр‑хан заплакал не о себе.

– Если я буду оставлять детей от таких отцов, они вырежут моих внуков… Эй, китаец, не жалей серебра.

Черби опять навалились, перевернули и надавили на горло и на ноги палками.

Кадыр‑хан услышал свой сип, увидел черный дымящийся ковш и вдруг яркое беспощадное солнце.

Через час, когда каган, сидя на большой черной своей кобыле, сквозь яблоневые ветки смотрел за работой стенобитных машин, два сотника принесли ему на доске серебряную маску. Маска казалась огромной, солнце отражалось в выпученных зрачках, ни страдания, ни слабости не было в этом лице. И это было неприятно кагану.

– Сделайте на лице слезы, – сказал он и, не обратив внимания на испуганный вскрик раба, ткнул в маску растопыренными пальцами и взвыл, обжегшись об еще не остывший металл. На маске же под глазницами остались темные пятна. И мертвые, отлитые металлом глаза смотрели в небо сосредоточенно и тревожно.

Пусто. Холм со странно торчащим из земли толстым, выбеленным, похожим на гигантскую кость бревном, да кусок тряпья рядом с ним, да ржавый лом. Вдали скорбные развалины, знакомая полуобвалившаяся цитадель над черно‑красными осевшими стенами. Туча двигалась к Отрару, седой полосой снега соединяясь со степью.

Всадник на большой рыжей лошади проехал по холму мимо бревна так, как проехал здесь когда‑то монгольский сотник, ткнувший копьем в спину мальчика‑писца из отрарской библиотеки. Снег настиг всадника, и он, и лошадь сразу сделались белыми.

Всадник на большой рыжей лошади был Унжу, постаревший, седой и угрюмый. Ветер дохнул в лицо, запорошил глаза снегом. Снег таял на лбу, стекал к бороде и здесь застывал сосульками. Сквозь снежную муть приблизилась башня без ворот. На въезде конь заскользил на груде битого кирпича, из башни выскочила большая собака, взвизгнула и исчезла.

Город был мертв, мертвее некуда. На обугленных, сгорбатившихся, пустых, как во сне, улицах ветер крутил снежную пыль. Унжу снял рукавицу, вытер мокрое лицо, погрел дыханием пальцы, удивляясь лошади, идущей без повода.

На центральной площади высокие ступени вели в никуда, бронзовые львы были сбиты с камней обвалившегося фонтана, на одном камне оставались только лапы. Дальше, дальше.

Иногда Унжу казалось, то там, то здесь мелькала человеческая фигура.

– Эй, – звал он сиплым голосом. – Эй!

Но это только казалось.

Опять появилась большая собака и пошла следом; если лошадь останавливалась, собака садилась и терпеливо ждала. При повороте на знакомую улицу ветер завернул полы кожуха, громко хлопнул ими, напугав лошадь, та рванула, заскользила на обледенелом вывернутом кирпиче и упала, выбросив Унжу из седла. Лошадь тут же встала, Унжу немного полежал на спине, глядя в серое небо, летящий в глаза снег и желая смерти. После встал и пошел пешком. Лошадь пошла следом, за ней собака.

Дувалы темные, обгорелые, проваленные купола домов… Что здесь было, ах! что здесь было. Унжу не мог смотреть, глядел под ноги и голову поднял только тогда, когда почувствовал – «пора». Он увидел за снегом человека, вернее, двух – длинного и поменьше – и тут же услышал сдавленный кашель. Длинный держал в руках сверток. Тот, что поменьше, вытягивал перед собой руки, показывая что‑то.

Унжу тряхнул головой, закрыл и открыл глаза и ударил себя кулаком в лицо. Видение не исчезло. Эти двое только шагнули навстречу. Унжу тоже шагнул, не веря, только чувствуя, что задыхается, и теперь ясно увидел, что поменьше – хромой сын Кулан с деревянными табличками в вытянутых руках, рядом с ним раб‑булгар, страшный, ободранный и тощий, с черными босыми ногами на снегу Булгар поднял одну ногу со скрюченными пальцами и вдруг, видно узнав, заскулил и опять закашлялся.

Они сидели в большой, выложенной кирпичом яме. Маленькая девочка ползала по овчинному полушубку, горел огонь, девочка тянула к огню руки и смеялась.

– Где твои арабские врачи? – спросил мальчик, вытянув хромую ногу, пошевелил ступней и плюнул в огонь. – Ты большой обманщик, Унжу‑хан.

Унжу только съежился.

– Ты должен наградить меня, – булгар долго кашлял, в груди у него все сипело, – я сберег тебе дочку и сына. За эти деревяшки, которые мне бросили монголы в воротах, когда решили, что я их открыл, знатные люди предлагали мне столько золота, даже хотели отобрать, но тогда я подозвал монгола. Я бы сберег и жену, но твой бог не захотел этого, – булгар порылся в тряпье и достал еще одну табличку с леопардом. – Чем ты наградишь меня, хан? – и опять закашлялся.

– Я могу отпустить тебя на волю…

Булгар засмеялся, и Унжу засмеялся тоже. Так они сидели, смеялись по очереди и глядели оба на огонь. Мальчик с удивлением смотрел на них.

– Что ты делал все это время? – спросил булгар.

Унжу пожал плечами.

– Я воевал там и здесь, с Тимур‑Меликом, был такой воин, и с другими… Мы начинали много раз, хорошо и по‑разному. Но кончали пока одинаково. Подумай, старик, ведь все могло быть совсем по‑другому… Наоборот, а?!

– В моей судьбе тоже все наоборот, – отсмеявшись, сказал булгар, – кто бы мог сказать это про меня, когда мне было столько лет, сколько ей?!

– А кто бы мог сказать, что Потрясатель Вселенной умрет в одиночестве и рядом с ним не будет никого, даже раба?! А повелительница всех женщин будет сидеть на цепи у шатра кагана и радоваться, когда ей бросят кость?! И что мой великий город… – Унжу дернул подбородком туда, наверх, где когда‑то над ними был Отрар, и они все помолчали.

– Зато наш черный камень опять стал теплый, – вдруг крикнул мальчик, – на нем тает снег, пойдем, я покажу.

Они собрались выйти, но булгар вдруг крикнул. Было поздно. Девочка, дочь Унжу, собрав деревянные пайцы, сложила их на красные, пышущие жаром угли, дощечки уже горели, и казалось, леопарды с задранными хвостами мчатся, мчатся через огонь.

Ночью булгар, мальчик и девочка спали, головы их лежали рядом, рты были полуоткрыты, а лица во сне серьезны. Унжу делал стрелы, тяжелые, как он любил, и выкладывал их рядом у огня. Потом встал и, отодвинув войлок, покрытый снегом, высунул из ямы голову. Над развалинами ярко светили звезды, и из земли рядом с ним шел дымок. Стояла лошадь, и сидела на снегу собака.

Собственно, это было то, с чего могла опять начаться история и жизнь.

Из этой картинки – снег, дымок, голова на крепких плечах, собака и лошадь.